T34358

T34
358

6635.

Л 17
V 20

ТОРИЧЕСКАЯ ИБЛИОТЕКА

Е. В. ТАРЛЕ

ТРИ КАТАСТРОФЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТРОГРАД
ПЕТРОГРАД 1923 МОСКВА

H

Е. В. ТАРЛЕ.

Т34 358

ТРИ КАТАСТРОФЫ

ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР
ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР
ВЕРСАЛЬСКИЙ МИР

Инв. 397

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОГРАД“
ПЕТРОГРАД — МОСКВА
1923

3/3
6638
57
56
59

Государственная публичная
БИБЛИОТЕКА
478712
Историческая

Петрооблит № 3627. Тираж 5000.

Госуд. типогр. имени тов. Зиновьева. Петроград, Социалистич., 14.

I.

Година занятия Рура, повидимому, ликвидирующая, как остатки государственного суверенитета Германии, так и последние надежды побежденной страны на установление финансовой прочности, является моментом, когда можно и должно подвести некоторые итоги, когда, прежде всего, уместно, наконец, поставить вопрос: что такое Версальский мир? Каковы основные черты его, которые отчасти роднят его с двумя предшествовавшими германскими катастрофами—1648 и 1807 г.г.,—отчасти же дают ему совсем своеобразное, ни на что не похожее место в истории.

Что Версальский трактат никакого «мира» ни Германии, ни Европе не дал, что он является, как откровенно заявил Клемансо осенью 1919 года, лишь продолжением войны другими средствами, что, вообще, он чреват долгими и необычайно болезненными судорогами и реальнейшими опасностями для большинства стран, если не всего света, то всей Европы, — в этом в настоящее время сомневаться уже не приходится. Едва ли в этом сомневаются теперь даже Клемансо и Тардье, которые писали Версальский трактат, и Пуанкарэ, который тогда, в бытность президентом республики, санкционировал каждую из 440 статей его до внесения в Совет Четырех, а теперь, в качестве первого министра, делает все от себя зависящее, чтобы обострить все углы, затруднить всякое соглашение, довести победителей до озлобленной ссоры между собою, а побежденных до полного и беспросветного отчаяния.

На вопрос, однако, о б л и ж а й ш е м будущем, о предстоящих годах, даются ответы неодинаковые. Одни верят в наступление рано или поздно социального катаклизма в Германии, Франции и остальных капиталистических державах и в то, что этот катаклизм сметет прочь Версальский

мир; другим кажется, что страны-победительницы решительно выступят, наконец, против французских притязаний и ослабят этим путем версальские тиски; третьи убеждены, что близка новая война из-за расходящихся интересов между странами-победительницами, и что в этом случае Версальский мир механически прекратит свое существование; четвертые, во главе с пацифистами, склонны питать надежды на то, что в самой Франции поймут вредоносность для французской же экономической жизни политики «национального блока» и согласятся добровольно на значительные уступки и послабления.

Будущее скрыто от нас густою завесою, и мы не знаем наверное, кто окажется прав, когда и как видоизменится или погибнет Версальский трактат. Но, оставляя в стороне предположения о будущем и оценку чужих гипотез, обратимся от будущего (таящего, быть может, действительно, самые неожиданные решения) к прошлому и настоящему; оставляя в стороне судьбы всей нашей планеты или, даже, одной только Европы, будем иметь в виду лишь Германию. Ставя так вопрос, ограничивая наш анализ не только во времени, но и в пространстве, мы все время будем стремиться к одной строго очерченной, но и чрезвычайно существенной цели: к выявлению и характеристике тех совсем особенных сторон нынешнего положения, которые ставят именно Германию в особое, никогда еще в ее истории не бывавшее положение, хотя аналогичные, но далеко не тождественные катастрофы уже с нею два раза случались.

В этом этюде я совершенно не касаюсь ни вопроса о причинах и поводах великой войны, ни тех фактов, которые вызвали неистовую ярость среди борющихся, особенно же среди народов, земли которых подверглись нашествию; я не буду говорить о том, чем именно мотивируют победители Версальский мир и как полемизируют с ними побежденные. Все моральные оценки и квалификации тут устраняются. В нашем поле зрения остается лишь одно: международное положение Германии, как его создал Версальский мир, — в свете сравнения его с двумя прямыми историческими антецедентами.

В современной германской науке и публицистике сделалось уже давно шаблонным сравнение Версальского мира с миром, закончившим вторую Пуническую войну и бывшим лишь как бы предвестием полного уничтожения Карфагенской республики. Нам представляется более целесо-

образным и научно продуктивным брать, в данном случае, материал для сравнений из истории самой Германии, хотя в иных местах, как увидит читатель, и мы поминаем Карфаген далеко не всуе. В предлагаемом небольшом этюде попробуем в самых кратких словах, в самом схематическом виде, отметить основные черты, отличающие нынешнюю катастрофу Германии от двух предшествующих, Версальский мир от мира Вестфальского и Тильзитского.

Случайно ли, что все три катастрофы произошли в новое время, а не в средние века? Случайно ли и то, что, по своим последствиям, последняя по времени катастрофа оказалась страшнее двух предшествовавших? Ответивши на первый вопрос, мы ответим и на второй.

История уже застает германские племена приблизительно на тех местах, которые и теперь ими заселены: они занимают центральную часть северной Европы. Их географическое положение предрешило далеко не все, но очень многое в их истории. Народ, окруженный с запада, с юга и востока, с северо-востока чужими племенами, только с севера прижатый к морю, которое находится в фактической власти тоже чужих племен, — таково извечное положение Германии. В предстоявшей многовековой экономической и политической борьбе германский народ очутился в невыгодной позиции. Невыгодность этой позиции заключалась в отсутствии надежного тыла и в естественной окруженности, — в легкости и удобстве возникновения антигерманских коалиций, как правильно заметил Бисмарк. Ни для одного европейского народа, кроме Польши и Чехии, никогда поражение не могло так быстро окончиться разгромом и гибелью национальной самостоятельности, как именно для немцев. Борьба на нескольких фронтах и невозможность защищаться отступлением — вот две опаснейшие для Германии черты почти всех ее войн. В средние века, до эпохи образования больших государств, эти обстоятельства не так бросались в глаза. На западе граница отвердела довольно рано, но зато на юге германский народ имел пред собою обширное, рыхлое и доступное поле для экспансии, и создание Габсбургской монархии явилось внешнею формою этой экспансии. На востоке также берега Балтийского моря оказались благодарною почвою для распространения германского элемента. Отсутствие больших держав в средние века делало также положение германского народа сравнительно более безопасным. Но с начала нового времени

положение стало меняться. В XV—XVI столетиях успехи турок положили прочный предел германской экспансии на юге и юго-востоке и поставили под угрозу самое существование Габсбургской империи. На востоке и северо-востоке стала крепнуть Польша. С северо-запада и севера начали грозить Дания и Швеция. На западе быстро занимала доминирующее положение Франция. Как только стали твердеть прежние неопределенные границы на юге и востоке,— сейчас же обнаружились все опасности географического положения Германии, несознанные еще и нечувствительные в течение всех средних веков: ясно было, что пред напором французов, датчан, шведов, поляков, турок — отступать некуда; что, в случае войны, нужно их победить или погибнуть. Эта альтернатива и сделалась проклятьем Германии на всю последующую ее историю. Земля была еще первенствующей формою экономической силы, охота за земельными приращениями была душою международной политики и германских и не-германских держав. Экономически—Германия XVI—XVII в. в. еще довлела самой себе; политически — ее положение оказывалось все стесненнее и стесненнее. При этих условиях и произошла первая катастрофа, Тридцатилетняя война, превратившая Германию в арену побоищ и схваток, где боролись за свои интересы чуть ли не все ее соседи.

Правда, уже в следующем столетии гибель другой окруженной страны, Польши, чрезвычайно улучшила международное положение обеих главных германских держав, — но основная опасность осталась.

Спустя полтораста лет после Вестфальского мира, в эпоху наполеоновских войн, эта окруженность Германии необычайно облегчила Наполеону полное порабощение страны. Но и тогда, и после Наполеона — экономически Германия еще очень мало нуждалась в иностранных державах: приращений XVIII века, польских земель, было достаточно, чтобы обеспечить хлебом прирост населения, а промышленность развивалась медленнее, чем в Англии, но быстрее, чем во Франции. Политически же окруженность могла оказывать для Германии вредоносное действие лишь пока Австрия была в вассальных, а Россия в союзнических отношениях к Наполеону. Наконец, третья катастрофа обрушилась на Германию, спустя столетие после Наполеона, уже в наши дни. Окруженность оказалась несравненно более прочной, тесной и грозной, чем раньше. Эта окру-

женность и одновременность борьбы на нескольких фронтах вызвали поражение, самое полное и убийственное, какое только возможно себе представить, а мир — сделал, в свою очередь, эту окруженность еще более тесною и прочною, чем она была до войны. Восток (Польша) опять стеснил несколько раздавшиеся с 1772 г. вширь германские границы. Германия была туго стянута и сдавлена со всех сторон, у нее было отнято все, что она успела приобрести со времени Вестфальского мира, была безнадежно и безвозвратно стерта с лица земли гнетущее ей нужная для выхода на восток Габсбургская держава. И притом *на этот раз* Германия уже была державою торгово-индустриальною по преимуществу, зависела от иностранцев во всей своей хозяйственной жизни, как никогда раньше, и потеряла море, которое ей было *на этот раз* нужно, как никогда, и колонии, которых она до предпоследнего десятилетия XIX века и не знала, которые ей именно теперь становились необходимыми. Последняя катастрофа произошла в такой период экономического развития, когда Германия могла дальше жить и нормально работать, при продолжающемся капиталистическом строе, *только* в постоянном теснейшем хозяйственном контакте с другими державами. Этот контакт мыслился до войны и во время войны немецкими империалистски-настроенными кругами, как супрематия Германии и подчиненность других. После разгрома — контакт остался для Германии полною, еще более гнетущею необходимостью, — но уже мыслится в других несравненно менее выгодных для германского капитала формах; это обстоятельство еще усиливает тесную зависимость побежденной страны от победителей.

Такова роковая для Германии роль ее географического положения, в той экономической и политической борьбе, которую ей пришлось вести в последние века ее истории. Это положение облегчало соединение против нее конкурирующих сил, из которых каждая в отдельности не имела никаких оснований надеяться на возможность привести Германию к гибели. После сказанного станет ясно, почему оба замечательные дипломата, которых только и породила Германия за всю свою историческую жизнь, инстинктом понимали и разумом вполне отчетливо сознавали всегда всю *хрупкость* и *эпизодичность* своих успехов и всю перманентность и неустранимость висящей над Германией смертельной опасности.

Фридрих II знал, как близка была полная гибель, как случаен был конечный успех. Бисмарк знал и, еще больше, чувствовал, что нужно бережно хранить так быстро и счастливо добытое в 1864—1871 г.г. и не искушать больше судьбы: его посмертно изданные воспоминания — сплошное свидетельство о глухом беспокойстве, никогда его не покидавшем. Не случайно было миролюбие Фридриха в последние 22 года его жизни и Бисмарка в последние 19 лет его карьеры. Не случайно и миролюбие политического завещания, которое оставил Бисмарк Германии в виде «Gedanken und Erinnerungen».

Не прошло и двадцати лет после его смерти, — и Дамоклов меч в третий раз обрушился на Германию.

В предлагаемых заметках, сравнивая главные черты как трех договоров, так и исторических условий, при которых они должны были осуществляться, я буду говорить только о международном положении Германии. Внутренняя ее эволюция за 270 лет, протекших между Вестфальским миром и Версальским миром, интересует нас здесь лишь постольку, поскольку мы постоянно должны помнить, что Германия 1648 года была по преимуществу земледельческою страною, Германия 1807 года тоже еще по преимуществу земледельческою и лишь в некоторых частях своих обладала довольно развитою индустрией, расчитанной на внутренний рынок, а Германия 1919 года—страной преимущественно индустриальной, очень зависящей от внешнего сбыта. Все остальные социально-экономические перемены, постигшие Германию за эти 270 лет, зависят от вышеуказанной эволюции. Мы надеемся современем еще обстоятельно рассмотреть роль и участь отдельных социальных классов германского народа во время этих трех катастроф. Здесь же пока мы сосредоточиваем свое внимание на международном положении Германии, и останавливаемся на самых главных чертах и характерных признаках.

Чтобы понять германскую проблему, нельзя, конечно, ограничиваться анализом международного положения Германии,—но начинать нужно именно с него. В последние свои годы Энгельс все больше и больше внимания обращал на ту усложненную и производную форму экономической борьбы, которая лежит в глубине каждого серьезного международного антагонизма. Он силился, подчеркивая первенствующее инициативное значение экономических причин конфликтов, не упускать из вида значение об'ек-

тивно данной обстановки борьбы. Он явно предчувствовал близкое наступление эпохи, когда от гигантского столкновения нескольких автономных устремлений капиталистического развития возгорится тот пожар, который вот уже девятый год не хочет потухнуть, хотя его несколько раз торжественно провозглашали прекратившимся.

К сожалению, и среди историков, и среди экономистов, и среди последователей, и среди противников Энгельса эта тенденция за вычетом немногих исключений вплоть до самой войны не нашла ни особого признания, ни серьезного внимания, ни даже простого понимания. Нужно надеяться, что теперь будет несколько иначе: факты говорят слишком красноречивым языком.

Вещи познаются сравнением. Оттого-то, желая понять наиболее характерное в нынешнем положении Германии, в нынешнем ее падении, мы должны все время не выпускать из памяти и из соображения две предшествующие катастрофы, мы бы сказали: два грозных предостережения, которые дала Германии история, если бы история давала кому-нибудь предостережения и интересовалась чьею-либо гибелью или чьим-нибудь возвышением. Антропоморфизм следует изгонять не только из мысли, но и из стиля.

II.

В субботу, 24 октября 1648 года, вечером, в епископском дворце в городе Мюнстере, в Вестфалии, при непрерывном громе пушечных салютов, германские, французские и шведские уполномоченные подписали, наконец, мирный трактат (и утвердили еще раз подписями другой, Оснабрюкский), закончивший страшную Тридцатилетнюю войну. На другой день великая новость стала распространяться по измученным и разоренным городам и деревням германских государств. Современники передают нам известия о ликовании народа, но одновременно говорят и о продолжающемся упадке духа, о недоверии к возможности получить, наконец, реальный мир. А что, если солдатеска воспротивится? Если шведы или французы не пожелают уйти, несмотря ни на какие трактаты? Если, наконец, уходя, они дотла ограбят все, еще почему-либо не взятое у населения?

Ведь, в этом поколении не только молодые люди, но и граждане зрелого возраста всю свою сознательную жизнь провели в обстановке непрерывной войны, резни и ожидания

резни, слухов о новых нашествиях и действительных нашествий. Их утром били и грабили католики, вечером—протестанты; поля почти не обрабатывались, наилучшей квартирой во многих местах считались подземелья с замаскированным входом; люди даже высших сословий выростали малограмотными или и вовсе безграмотными, за отсутствием возможности учиться вследствие кочевого образа жизни.

Когда было об'явлено, что все это кончилось, и особенно, когда стали понемногу понимать, что, в самом деле, война, терзавшая страну тридцать лет, прекратилась—ликованию не было конца.

Для страны, которая в с я горела и избивалась внешним врагом, население которой тридцать лет чувствовало себя живущим в капкане и окруженным со всех сторон врагами, это настроение было понятно и характерно. Это так же характерно, как и другая черта, тогда тоже сказавшаяся и непосредственно связанная с первою, только что отмеченною, с ликующим настроением.

Я имею в виду разительную перемену, происшедшую с германским обществом за время Тридцатилетней войны: в 1618 году, помимо экономических, политико-территориальных и иных интересов материального характера, на-лицо были и выдвигались настойчиво (хотя, конечно, и тогда уже, несмотря на видимость, не играли решающей роли) и мотивы более «идеального», эмотивного свойства: говорили, писали, бранились католики с протестантами, речь шла о пределах терпимости и соответствии или несоответствии тех или иных религиозных доктрин учению Христа и пр. К 1648 году все это как ветром сдуло. Статьи оснабрюкского и мюнстерского договоров, касающиеся религии, никого не интересовали ни во время обсуждения, ни после. Мало того. Даже вопрос о подчинении иностранцам, об отходе исконных немецких земель под Fremdherrschaft до войны играл серьезную роль не только среди правителей, но и среди подданных германских государств: в 1648 году—все это лишь досадные предлоги для проволочек (даже с точки зрения ничтожного меньшинства, вообще следившего сколько-нибудь за политикой). Мазарини хочет забрать Эльзас? Пусть берет, лишь бы поскорее. Оксеншпрна требует Померанию? Не торгуйтесь, отдавайте, от шведов житья нет, пусть идут в Померанию и оставят остальных в покое. Вот настроение. Когда последняя подпись под договором была проставлена в старом епископском дворце в Мюнстере, когда после тридцатилетней войны и

разрухи Германия осталась не только нищей, вконец разграбленной, одичавшей от голода и лишений страною,—но и вполне беззащитным конгломератом из нескольких сот мелких владений, готовою добычею для любого соседа,—раздался хор ликований: кончилась война, все остальное будет лучше, все, даже национальное уничижение, полная необеспеченность в будущем. «Gott lob, nun ist erschollen das edle Fried-und Freuden-Wort! O Deutschland, singe Lieder im hohen, vollen Chor!»—восклицал и приглашал свой народ поэт Павел Гергард в 1648 году. Ликование было настолько всеобщим, что могло казаться, будто Вестфальский мир принес несчастной стране неисчислимые выгоды и безмятежное благополучие.

Песенка Павла Гергарда огласила Германию в ноябре 1648 г. Прошло ровно 270 лет,—и в ноябре 1918 года, после неслыханного разгрома, после страшнейшей по своим последствиям и унизительнейшей полной сдачи на волю раз'яренному врагу, раздалась другая песня, как-будто прямое продолжение Гергарда: «Wir stehen unvernichtet,fast ist es ja ein Traum, und haben jetzt errichtet den stolzen Freiheitsbaum!», и начались танцы, уличные песнопения, музыка на каждом шагу, веселый шум ресторанов и народных гуляний,—словом все то, что так изумило иностранцев в Германии после перемирия 11 ноября 1918 года, и что заставило корреспондента «Corriere della Sera» с недоумением сказать: «немцы, очевидно, еще и не начали понимать, какой ужас приключился с ними». Нет, они понимали это хорошо, но первого порыва они преодолеть не могли,—стихийная, животная радость существ, спасшихся от физической, немедленной гибели, превозмогла все. Католики? Протестанты? Священная римская империя и флаг Габсбургов должны дойти до Балтийского моря? Об'единение империи от границ Бельгии до Турции? Все эти лозунги и слова, и споры, и понятия 1618 г. исчезли в 1648 году пред одним лозунгом: не нужно войны, иначе мы вымрем полностью.

Точно так же исчезли все лозунги 1914 года: «дорога Антверпен — Багдад», центрально-африканские колонии, «свобода морей» и т. п.—пред тем же лозунгом, единым и упорным, целиком перешедшим из 1648 года в 1918-й: заключайте мир, иначе мы вымрем полностью. В первом случае для этой замены многих лозунгов единым понадобились тридцать лет, во втором случае—четыре года и три месяца, но результат в моральном смысле был один.

Это ничего не значит, что Траутмансдорф, заключивший мир в 1648 году, окончил дни свои в покое и чести, а Эрцбергера, подписавшего перемирие 11 ноября 1918 г., убили, что истинную природу Вестфальского мира начали понимать лишь спустя несколько десятилетий, а природу ноябрьского перемирия поняли почти тотчас же. Все равно, и в первом, и во втором случае—лозунг primum vivere овладел всеми классами народа вполне и невозбранно. При таких настроениях с побежденными можно было не стесняться. Но в 1648 году враги не добились той согласованности в действиях, как в 1919 году.

Наиболее роковые последствия Вестфальского мира сказались не сразу. Первые одиннадцать лет Франция была занята войною с Испанией, потом еще кое-какие обстоятельства мешали использовать полную беззащитность Германии. Когда же удобный момент наступил, Людовик XIV получил без малейших усилий все то, чего желал на левом берегу Рейна. Только через тридцать лет после Вестфальского мира сказались явственно и болезненно самые тяжкие и опасные его последствия; точь-в-точь так, как для Турции в свое время вся опасность Кучук-Кайнарджийского мира сказалась не в 1774 году, когда он был подписан, а в 1783 году, когда Екатерина присоединила Крым к русским владениям. Но постепенно горизонты стали проясняться пред Германией. С одной стороны, второй победитель—Швеция была занята сначала войнами с Польшей, а потом с Петром Великим, и после Полтавы навсегда вышла из числа держав, которые могли бы продолжать активно вмешиваться в германские дела. Наконец с той декабрьской ночи 1688 года, когда последний Стюарт бежал от лица революции,—английский флот, армия, казна и дипломатия были всегда наперед готовы к услугам всякого германского потентата,—будь то Габсбурги или Гогенцоллерны,—который подымет оружие против Франции. Это обстоятельство могущественно способствовало тому, что Франция должна была отказаться от дальнейшего продвижения на западной границе Германии, хотя Вестфальский мир, санкционировавший бессилие и расчленение германского народа, еще продолжал оставаться в полной юридической силе.

Далее. Вестфальский мир не возложил на разоренный, полуперебитый, задавленный бедствиями и страданиями германский народ ни одного финансового обязательства, которое могло бы сколько-нибудь заметно повлиять даже в

ближайшие 2—3 года, не говоря уже о дальнейших десятилетиях, о новых поколениях, на материальную жизнь населения Германии. Иностранцы после войны почти вовсе очистили германскую территорию (кроме уступленных по договору земель), уже около 1650 года, когда мир был торжественно ратифицирован.

И закончим самым главным: Вестфальский мир не лишил германский народ суверенитета, ни юридически, ни фактически. Ни малейшего вмешательства во внутренние дела, никакой оккупации, никаких ограничений в области военной организации. Мало того: речь некоторое время шла даже о вступлении французского короля Людовика XIV в число государей «Священной римской империи германской нации» в качестве нового обладателя исконных имперских территорий и, значит, формально, в качестве ленника империи. Уже то обстоятельство, что подобная комбинация могла серьезно обсуждаться и была отвергнута французским двором лишь после зрелого размышления, говорит о том, какой внешний почет продолжал оказываться призрачной, побитой германской «империи».

Все эти обстоятельства уже сами по себе показывают, что Вестфальский мир был, правда, концом тяжелой, очень неудачной, неслыханно разорительной войны, был политической катастрофою,—но, при всех своих отрицательных для Германии свойствах, не компрометировал будущего окончательно; он мог оставаться в силе, а, одновременно, позволительно было ждать от обстоятельств нового под'ема; все было потеряно на западе, но восток таил в себе великие возможности.

Тут мы переходим от менее важного—к более важному, от пергамента с печатями ко всему многообразию жизненной обстановки, от 1648 года—к тем полутораста годам, которые за ним последовали.

III.

Есть в политике впечатления незабываемые. Может быть, не так легко отважился бы Александр Македонский с несколькими десятками тысяч человек начать завоевание великой персидской державы, если бы не традиция «Анабазиса», если бы не воспоминание о походе и отступлении, бывших за семьдесят лет. Это воспоминание о горсточке, прорвавшейся на родину из недр огромного враждебного

государства, пережило и осилило ряд последующих впечатлений, казалось бы, говоривших о возрождении и несокрушимости персидского могущества. Эти мысли невольно приходят в голову, если вдуматься в общую физиономию и внутренний смысл событий, разыгравшихся уже чрез каких-нибудь семь-восемь лет после Вестфальского мира.

В 1654 году могущественная Польша теряет Украину и терпит поражение за поражением от плохо вооруженной и до курьеза необученной московской рати. Не успел европейский дипломатический мир учесть это новое и крайне важное обстоятельство, как в 1656 году шведское (не очень значительное) войско вышло из Померании и, разбивши наголову поляков (ополчение дух больших воеводств), вошло в Познань, откуда, безостановочно двигаясь, прошло прямо на Варшаву. Взявши Варшаву, шведы, под предводительством самого короля Карла-Густава, преследуя по пятам бегущих поляков, вошли в Краков. Что все-таки дело не окончилось бесповоротным завоеванием Польши, что шведы, вследствие ряда дипломатических и стратегических соображений, в конце концов, ушли,—это уже нисколько от поляков не зависело, и общего впечатления не изменило. Этих событий уже никто никогда в Европе не забывал. Ни Ян Собесский и «освобождение Вены», ни что другое уже не было в силах внушить доверие к силе и крепости Речи Посполитой. Если не для всего конгломерата германских государств, то для одной из этих держав, для Пруссии, являлись перспективы самые заманчивые. Можно было, пользуясь шведско-польской враждой, отобрать и у Швеции, и у Польши земли, лежащие поблизости и населенные немцами; можно было мечтать и об отхвате даже чисто-польских земель. После 1654—1656 г.г. польская болезнь уже не подлежала оспариванию; о смерти больного, конечно еще не было и речи, но предполагаемые, определенные историей и географией наследники начали с новым вниманием глядеть на соседа, неожиданная слабость которого так ярко обнаружилась. Ведь, уже через семь лет после Вестфальского мира политика Пруссии оказывалась живым, очень активным фактором, с которым сильно считались и Швеция, и Польша. Чего же нельзя было ожидать в будущем?

Восток являлся опять, как в конце средних веков, непрочным, рыхлым, готовым обширным полем богатейших компенсаций за все потери Тридцатилетней войны; Польша

должна была вознаградить Германию и за набеги и захваты Людовика XIV, и за иные, возможные в будущем, потери на западе. Уже с 1656 года оказывались возможными и мотивированными те мечтания, которые, при всей их смелости, все же были превзойдены действительностью в 1772, в 1793, в 1795 годах, в эпоху разделов Польши.

Таким образом, обстоятельства сложились так, что хотя Вестфальские трактаты (и оснабрюкский, и мюнстерский) оставались в юридической силе, они уже, спустя несколько десятилетий, перестали считаться пугалом, бедствием, позором. Западная граница была попрежнему слаба, но Франция обыкновенно оказывалась несвободной и руки ее слишком связанными Англией для прямых нападений; восток был готовою и нужною богатою добычею для обеих германских великих держав — и старой, и новой, и Австрии, и Пруссии. И хотя был момент в этом 150-летнем промежутке между Вестфальским и Тильзитским миром, когда Пруссия чуть не погибла (я говорю о средних трех годах Семилетней войны), но, во-первых, она только потому погибала, что Австрия и ряд других германских держав торжествовали над нею вместе с Францией и Россией, а, во-вторых, после этого временного трудного периода Пруссия оказалась сильнее, чем когда-либо прежде была: восток—Россия—ее спас, и восток—Польша—влил в нее вскоре после того новые жизненные силы и открыл пред нею новые горизонты. До польских разделов Пруссию иногда с ч и т а л и любезно великою державою; после разделов она в самом деле бесспорно стала в первой череде великих держав.

Подводя в нескольких словах итоги всей эволюции Германии от Вестфальского мира до конца XVIII столетия, следует запомнить, как самое главное: 1) Вестфальский мир оставил германскому народу государственный суверенитет и не наложил на него н о в ы х финансовых тягот и цепей экономического порабощения; он окончил эпоху полного разорения и открыл период медленного восстановления и выздоровления. 2) В точном смысле слова катастрофою Вестфальский мир был постольку, поскольку он предоставлял Германию, как вполне беззащитную жертву, на произвол французскому абсолютизму; постольку, наконец, поскольку узаконял и увековечивал полное раздробление и политическое расчленение страны между несколькими сотнями мелких потентатов. 3) Политическая ситуация сложилась так, что победители (французы и шведы) не остались между со-

бою в длительном контакте, направленном к дальнейшему порабощению Германии; с другой стороны, уже спустя сорок лет после Вестфальского мира, Англия сделалась неустранимым и всегда готовым к бою врагом Франции, серьезно стеснявшим свободу действий версальского двора. Мало того, шведы, воюя с Польшей, а не с Германией, настойчиво ослабляя и унижая Речь Посполитую, тем самым уже с конца, если не со средины XVII столетия открывали пред германским восточным аванпостом—Пруссией—самые широкие горизонты усиления и хищнического, но быстрого земельного роста и обогащения.

Катастрофа XVII столетия для Германии была катастрофою войны, тридцатилетнего разорения, но не катастрофою войны и мира, как разгром 1914—1919 г.г. Очень был тяжел и опасен для Германии Вестфальский мир; он заключал собою ужасное прошлое, но не гасил надежды и не убивал будущего.

Было, кроме всего сказанного, еще одно условие, которого не только нельзя забыть, но которое является главною окраскою всего фона рассматриваемого события. Земледелие и сельскохозяйственная промышленность, кустарные промыслы, первые шаги возникающего капитализма—вот что застаем мы в Германии второй половины XVII столетия. Первенствующей формою капитала являлась все еще земля; все еще население, в одних местах больше, в других—меньше, обеспечивалось туземными продуктами и туземными мануфактурными элаборатами; связь с иностранными державами не имела еще для Германии ничего гнетуще-необходимого, да и связь эта даже в худшие годы войны не была утрачена: сношения с самыми могучими в те времена экономическими организмами, в роде Голландии, никогда не прерывалась, и нечего распространяться о том, что сейчас же по восстановлении мира торговые отношения могли воскреснуть в полной мере. Германия XVII века была беднее и самостоятельнее в хозяйственном отношении, чем Германия XIX века; Германия XIX века—беднее и самостоятельнее, чем Германия XX века. В так называемые «нормальные времена» мало кто интересуется этою теснейшею связью между бедностью и независимостью, богатством и зависимостью страны от моря и от иностранной торговли. Германия 1648 года едва заметила, что к ней возвратилась полностью возможность восстановить довоенную торговлю с иностранцами; Германия 1919 г.

ощутила, как величайшее бедствие, что ей, несмотря на мир не дано возможности это сделать.

Германия 1648 года чувствовала инстинктом и понимала разумом (и выражала это), что ее кормилицей была и остается земля, и что эта земля не уменьшена сколько-нибудь значительно; нужно только усиленно работать, чтобы опять расчистить и вспахать заброшенные и одичавшие пустоши. Германия 1919 года столь же твердо знала, что ее земля, при идеально поставленной обработке, не могла еще до войны прокормить всего населения, и что теперь, по миру, 20% пахотной площади этой земли отнято неприятелем.

Сколько веры в будущее и какая жизнерадостность в разросшейся агрономической литературе и увлечении ею в Германии второй половины XVII века и всего XVIII столетия! И как нелепо было бы теперь ждать спасения Германии от изыскания лучших методов сельского хозяйства!

Огромное крестьянство и численно небольшой рабочий класс в 1648 г. в своем пропитании и в своей работе всецело зависели от немецкой земли, сырья, от немецких провенансов, немецкого потребителя. Они могли не заметить, какой именно мир был подписан в мюнстерском епископском дворце: для них было важно только, что отныне можно будет спокойно работать. В 1919 году трудящиеся массы Германии, в особенности же огромный рабочий класс, предчувствовали (а в 1920—22 г.г. узнали наверное), что спокойно работать им еще долго не придется, что речи о сбережениях нет и быть не может, что отныне высшая цель—угнаться за ценами на продукты потребления, потому что мир, подписанный в версальском дворце, есть продолжение войны иными средствами, и что в самой работе своей они зависели, зависят и будут зависеть от чужого сырья, и от чужого потребителя, от сделавшегося чужим океана, от ставших трудно-доступными заморских рынков.

IV.

Как разгром Пруссии Наполеоном и полное, прямое или косвенное порабощение им Германии, так и освобождение Пруссии и Германии в 1813 году окружены густою сетью легенд, толстым слоем паутины всевозможных хитросплетений и выдумок.

Государственная публичная библиотека Исторический

Постараемся в данном случае «восстановить права факта», по прекрасному выражению одного замечательного, ныне живущего, русского историка.

«Подгнившее здание фридриховской монархии рушилось от удара гениального завоевателя; но, познавши опасность, Пруссия быстро обновилась, ободрилась, одушевилась (Фихте, берлинский университет, реформы Штейна и Гарденберга etc.) и вот, могучим порывом 1813 года, освободилась от порабощения». Таков захватанный трафарет казенного образца, давно уже ставший привычною, стертою, разменною монетою, вошедший в исследования, в университетские курсы, в гимназические учебники. Продовольствуется этим трафаретом в Германии (да и не в одной Германии) и высшая, и средняя, и низшая школа, и верно еще долго так будет: последние события в этом отношении ни на на йоту не повлияли на германскую историографию. Не нами началось, не нами, очевидно, и окончится.

Во всяком случае, трафарет этот, при всей стройности, законченности и разработанности своей, имеет одно бесспорное неудобство: приняв его, мы лишаем себя какой бы то ни было возможности понять реальные факты, уразуметь смысл событий 1806—1813 годов. В ходе нашего анализа это неудобство, как читатель согласится, довольно существенное. Поэтому отбросим эту стертую монету в сторону и будем считаться т о л ь к о с фактами.

При Йене и Ауэрштедте погибла, действительно, фридриховская Пруссия, но вовсе не потому, что она сгнила, и не только потому, что Наполеон был гениальным полководцем, а Фридрих-Вильгельм III и герцог Брауншвейгский были бездарны. За пятьдесят лет до Йены и Ауэрштедта Пруссией предводительствовал Фридрих Великий, о котором впоследствии в с е г д а с восторгом отзывался сам Наполеон, а врагами Пруссии командовали либо ничтожества, вроде Апраксина, либо, в лучшем случае, генералы довольно способные, но годившиеся в ученики или помощники Фридриху, но не в соперники. Что касается пресловутой «гнилости», то еще н и к т о в точности (не отделываясь пустыми фразами) не указал, в чем именно Пруссия 1806 года, потерпевшая разгром при Йене, была более «гнилою»; чем Пруссия, напр.,1759 года, разгромленная самым ужасающим образом при Кунерсдорфе? Фридрих Великий, м е ч т а в ш и й к концу этого сражения быть убитым (и лишь случайно не убитый), долгими неделями думавший,

что Пруссия безнадежно погибла, испытал за время Семилетней войны еще не один раз подобный ужас, прежде чем вечером одного зимнего дня день и ночь мчавшийся курьер привез ему известие, что Елизавета Петровна скончалась, что на престоле Петр Федорович, что все спасено, что зиявшая пред государством Прусским пропасть чудом закрылась. «Morta la bestia, morto il veneno!»—с восторгом писал король, любивший итальянские словечки.

«Яд», смертельно опасный для Пруссии, действительно сразу был обезврежен. Фридрих Великий отлично знал, от чего спасла его судьба. Он никогда уже не осмеливался больше бросать вызова сильным соседям. Собственно, знали об этой невозможности рисковать войною и оба его преемника. Разделы Польши, счастливо для Пруссии проведенные без сколько-нибудь крупных столкновений, вдохновили и толкнули прусский двор на участие в антиреволюционной первой коалиции 1792 года. Но и тут Пруссия первая вышла из коалиции, и базельский мир 1795 года впервые привел к признанию революционного французского правительства со стороны берлинского двора, со стороны одной из европейских монархий. В этот момент выход Пруссии из коалиции и признание, как тогда выражались, «цареубийц» законным правительством—произвели впечатление большого унижения и соблазна. Но понятное чувство осторожности, чувство грозящей смертельной опасности, не покидавшее с 1763 года Фридриха Великого, возобладало в 1795 году при дворе его преемника.

То же чувство не позволило Фридриху-Вильгельму III осенью 1805 года примкнуть к третьей коалиции. Когда Александр I старался сломить боязнь короля убеждениями, просьбами, клятвами над гробом Фридриха Великого и другими романтическими и прозаическими способами, он наталкивался на непобедимое сопротивление. Человек терялся, робел, умолял не сердиться на его уклончивость, всею душою желал победы третьей коалиции, ненавидел Наполеона, терзался мыслью о раздражении и разочаровании Александра,—и все-таки на войну не решился. Он знал твердо, что в одном отношении он прав: для Александра поражение означает удар самолюбию и только, для императора Франца I поражение выразится в потере одной или двух, или, на худой конец, трех провинций на западе или юге, а для него, Фридриха-Вильгельма III, поражение равносильно политической смерти Пруссии, ибо Пруссии

отступать некуда. Но он только отсрочил неотвратимое. В 1806 году Наполеон сделал войну с Пруссией неизбежною вполне, и Фридрих-Вильгельм III послал свой сентябрьский ультиматум Наполеону, когда тот уже привел в движение армию, предназначенную для вторжения.

В то время, когда начиналась война, в распоряжении Наполеона находились все население и все огромные материальные рессурсы Франции, Бельгии, всего Аппенинского полуострова, Швейцарии, Голландии, почти всей западной Германии; Саксония, Бавария, Вюртемберг, Баден были в вассальных отношениях и в рабской покорности; Австрия еще не оправилась от Аустерлица и Прессбургского мира; Россия обещала помочь Пруссии, но пока была еще далека и неготова. Население стран, уже тогда прямо или косвенно подчиненных самодержавной воле Наполеона, приблизительно в четыре раза превышало население Пруссии; сравнивать же экономические силы Пруссии с материальными богатствами всех этих наполеоновских владений можно было бы только разве для курьеза. При этих условиях и при этой дипломатической обстановке разгром Пруссии являлся делом предрешенным. То обстоятельство, что армия Наполеона была лучше организована, чем армия Пруссии, и что сам император был военным гением первой величины, обусловило, может быть, только молниеносность прусского поражения; самое же поражение являлось безусловно неизбежным, и русская помощь от Пултуска до Фридланда оказалась уже не продолжением франко-прусской войны, но совсем новою франко-русскою войною. Шатобриан, как раз в 1806 году отправившийся в путешествие на восток, по возвращении своем «уже не застал» Пруссии. Его впечатление, переданное им в «Memoires d'outretombe», было общим впечатлением современников в первый момент (но только в первый момент) после Тильзитского мира. Пруссия, как суверенная держава, исчезла с лица земли.

Чем был Тильзитский мир для Пруссии? Только так мы должны, в данной связи идей, ставить здесь вопрос; а между тем ставить его так, значит искусственно суживать задачу. В тот день, когда оба императора сидели в павильоне на плоту, а король Фридрих-Вильгельм III, не приглашенный, бродил по берегу Немана, ожидая решения неведомой еще пока судьбы своего королевства,—Пруссия играла в соображениях и планах Наполеона весьма подчиненную роль. Раздел Запада и Востока, вопрос о борьбе с

Англией, континентальная блокада, Польша, Константинополь—вот что занимало Наполеона. Он выкроил из Пруссии Варшавское герцогство, часть Вестфальского королевства, окончательно утвердил полную свою гегемонию во всей Германии, ограничил право Пруссии содержать армию (42.000 человек, как максимум контингента), наложил контрибуцию, фактически оставил за собою Данциг, приказал принять континентальную блокаду, сделал Пруссию проезжею дорогою для своих войск и чиновников (между Францией и герцогством Варшавским), всенародно унизил Фридриха-Вильгельма и Луизу, превратил Пруссию в вассальное государство, трепещущее от одного только взгляда владыки,—и перестал ею заниматься.

Перестал ею заниматься. Просим читателя обратить внимание на эти слова. Катон Старший не переставал заниматься Карфагеном после второй Пунической войны. Клемансо и Пуанкарэ не переставали заниматься Германией после Версальского мира.

В особом исследовании [1]) мне пришлось уже констатировать, что ни в качестве рынка сбыта, ни в качестве рынка сырья ни наполеоновская империя для Германии, ни Германия для империи большой роли не играли. В частности, с Пруссией Франция была экономически очень мало связана. Что касается континентальной блокады, то, во-первых, прусская промышленность (как и саксонская, и французская) только выиграла от изгнания английских конкурентов, а, во-вторых, наиболее тягостная сторона блокады,—недопущение колониального сырья,—гораздо меньше угнетала Пруссию, чем, напр., Францию, так как контрабандный ввоз процветал на Балтийским море, да и очень практиковался на русской сухопутной границе. Чем было дальше от глаз Наполеона, тем грандиознее была роль контрабанды в хозяйственной жизни подвластных ему стран. Далее. Финансовые тяготы, возложенные на Пруссию (112 миллионов франков золотом), не удорожили жизни и не поколебали валюты настолько, чтобы хоть на один момент за все время между Тильзитским миром и войною 1813 года положение стало критическим. Эти тяготы были, при всей суровости Наполеона к побежденным, соображены с экономическими силами страны. Валюта, конечно, пошатнулась, но далеко не был

[1]) „Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen zur napoleonischen Zeit“ (Berlin. 1913).

достигнут тот предел болезни финансов, когда стало бы бесцельным делом накопление денежных знаков, и когда единственною формою помещения капиталов являлась бы немедленная покупка движимых или недвижимых ценностей. Государственный кредит пал, но за все $5^1/_2$ лет (1807—1813) сохранялось то, что было важнее всего для торговли и, вообще, хозяйственной жизни страны: сравнительная устойчивость денежных знаков, хотя бы и сильно павших в цене. Это была, конечно, относительная устойчивость, колебания были, однако, не крутые колебания от ночи к утру, как бывает с температурою у опасно больных, или с валютою Германии в 1922—3 году, но измерявшиеся месяцами, заметные по третям года, по полугодиям. Такие колебания не препятствовали хотя бы небольшому коммерческому расчету и предвидению, без чего сколько-нибудь нормальная экономическая жизнь была бы невозможна. Ничего подобного конвульсиям нынешней германской марки не было в 1807—1813 г.г. и в помине. Словом, сказывалось, что контрибуция, которую потребовал Наполеон с Пруссии, была равна 112 миллионам франков при до-военном годовом бюджете Пруссии в $101^1/_2$ миллион франков (27 миллионов талеров золотом); а после мировой войны потребовали 138 миллиардов золотом с Германии, до-военный годовой бюджет которой был равен $3^1/_2$—4 миллиардам марок.

При таких-то условиях жила Пруссия в годы наполеоновского ига. Погибло великодержавие страны, осталась бледная тень, словесная шелуха даже от простого суверенитета, население свелось к 9 миллионам человек, потеряны были хорошие пахотные земли. Но, во-первых, оставлена была возможность более или менее спокойной хозяйственной жизни. Во-вторых, не были уничтожены предпосылки к оздоровлению финансов. В-третьих, что важнее всего, Наполеон вовсе не поставил себе задачею после Тильзитского мира и дальше разорять, уничтожать и обескровливать Пруссию. В противоположность Франции 1919 года, Наполеон ни в малейшей степени не боялся Пруссии, в самостоятельное восстание ее он нисколько не верил,—и уже с 1810, а особенно с 1811 года смотрел на прусское войско, как на будущую часть вассальной армии, которая по первому его приказу будет выставлена покоренными народами и станет под его знамена. Это обстоятельство оказалось в высокой степени благоприятным для Пруссии. Наполеон ее разбил, поверг на землю, окарнал ее границы, привел в вассалитет—и оставил в покое. Не

потому вовсе он смотрел сквозь пальцы на возрождающуюся военную организацию Пруссии, что прусские генералы и чиновники будто бы так уже ловко хитрили и скрывали дела свои, но потому, что прусская военная сила уже $1^1/_2$ года до русского похода была в его глазах частью великой армии, предназначенной для нашествия на Россию. Это был случай, когда сюзерен прямо заинтересован в том, чтобы вассал оказался в нужный момент в полной боевой готовности. Весною 1812 года французский император посылал военных ревизоров для справок не о том, так ли слаба прусская армия, как это требуется по букве Тильзитского трактата, но для проверки, настолько ли она сильна, чтобы давать ей ответственные поручения в предстоящей войне против России. Тильзитские настроения продержались недолго. В июне 1807 года у Наполеона еще свежи были воспоминания о Пруссии, осмелившейся выступить против него за девять месяцев до того. Но уже очень скоро Наполеон явственно решил, что Пруссия для него вполне безопасна, армия же ее может при случае пригодиться ему не хуже армии итальянской, польской, голландской, баварской, саксонской, войск Рейнского союза или всякой иной вассальной военной силы. Заметивши это, вспомним теперь следующий эпизод.

В декабре 1918 года, в марте 1919 года, позднею осенью того же 1919 года—у генерала Людендорфа возникала бредовая идея о том, чтобы Франция начала войну против России,—с маршалом Фошем в качестве верховного главнокомандующего и с ним, Эрихом Людендорфом, в качестве начальника фошевского штаба. Это была его мечта, и он не стеснялся ее несколько раз высказывать, и думал, очевидно, что он не компрометирует всенародно своих умственных способностей, когда выразил (уже в 1920 году) корреспонденту газеты «Matin», с самою серьезною миною, свою горькую обиду по тому поводу, что его «план» ничего, кроме иронии, не вызвал. «Идея» Людендорфа была не просто неосуществимою, она была именно бредовою, безумною фантазиею, порождением, достойным воспаленного мозга какого-либо из героев Эдгара По. Нас она тут занимает только для более яркого сопоставления дел после-тильзитских с делами после-версальскими. Наивная «хитрость» Людендорфа заключалась в том, чтобы, напроспвшись на вассальную службу французскому милитаристскому течению, на этой почве как-нибудь незаметно обойти запретительные статьи Версальского мира и под шумок подготовить «воен-

ное возрождение» Пруссии. Не говоря уже о полной невозможности, в виду настроения рабочих масс в Германии и Франции, осуществить то, о чем он мечтал,—Людендорф обнаружил в данном случае еще и граничащее с полною умственною слепотою неумение разбираться даже в самых очевидных комбинациях: он не понял, что скорее французы пойдут на отмену в с е х прочих статей Версальского договора, чем под каким бы то ни было видом позволят коснуться статьи, воспрещающей Германии иметь армию, превосходящую 100.000 человек, и другой статьи, воспрещающей выводить даже эту ничтожную «армию» за пределы Германской республики.

А после Тильзита уже скоро, как мы только что видели, стало о с у щ е с т в л я т ь с я именно то, о чем так нелепо и бесплодно фантазировал после Версаля Людендорф: победитель сам, по своей инициативе, решил, что прусская армия будет во время будущей войны против России вспомогательною частью французских войск, причем она сохранит свою организацию, свои внутренние распорядки и своих генералов,—которые будут только поставлены под власть одного из императорских маршалов.

Таким образом, оказалась у Пруссии возможность, на глазах Наполеона и не боясь его гнева, увеличивать и устраивать армию и приводить ее в боеспособное состояние.

Между июньским днем 1807 года, когда был подписан Тильзитский трактат, и июньским днем 1812 года, когда великая армия стала переходить через Неман, прошло пять лет, и за эти пять лет прусское войско из жалкого сброда оборванных, запуганных, обезоруженных пеших беглецов превратилось снова в организованную силу. Это войско пока, в 1812 году, вместе с другими вассалами, должно было принять участие в войне с Россией, затеянной Наполеоном, но оно давало все права мечтать и надеяться на перемену обстоятельств, на то, что этою переменою удастся во-время воспользоваться.

Мы говорили об экономическом и военном состоянии Пруссии после Тильзита. Это состояние было таково, что оно давало стране возможность жить, хотя и скромно, надеяться, хотя и не очень заноситься в мечтах, налаживать внутреннюю жизнь, хотя с опаскою и с оглядкою, установить с победителем сравнительно терпимые отношения, хотя и на началах полной покорности. Конечно, не могло быть и речи о восстании против Наполеона, и отчаянный шаг

Австрия в 1809 году остался, несмотря ни на какие уговоры, неподдержанным. Пруссия в 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 годах не гнила, не свежела, не здоровела: она просто, жила и дожидалась своего часа. Она знала, что ее освобождение либо вовсе не придет, либо придет в зависимости от общего перерешения всех европейских проблем; что все дело в международной ситуации и в дипломатии, и ближайшим образом, в неминуемом столкновении двух великих континентальных держав,—и больше н и в ч е м. Современники это знали; потомки забыли и принялись сочинять поэмы в прозе о призывах Кернера и лекциях Фихте, о чудодейственном омоложении «гнилой» страны, о furor teutonicus. Баснописцы, в стиле нашего Михайловского-Данилевского, заполнили тогда, вскоре после наполеоновских войн, не только русскую, но и германскую историографию—и прочно утвердились в ней.

V.

Отмирание легенд происходит в исторических дисциплинах в последние полвека довольно быстро, но некоторые предания обнаруживают поразительную живучесть. С какою неохотою, напр., средний образованный человек примирился с мыслью, что, при всех достоинствах Ликурга и Вильгельма Телля, ни спартанского, ни швейцарского героев никогда не существовало. Как медленно (и с какими рецидивами и возрождениями) разрушалось сказание о великодушном самопожертвовании французского дворянства в ночь на 4 августа 1789 года. Легенду о «гнилости» Пруссии в 1806 г. мы уже рассмотрели, но еще упорнейшею легендою бесспорно является предание о германской «освободительной войне» 1813 года. Бравая германская патриотическая профессура немало поработала для укрепления этой легенды, а народный учитель нового образца—над ее популяризацией.

В тот момент, когда русская армия, идя по пятам за отступавшим Наполеоном, показалась в прусских пределах, значительная часть германских государств состояла не за страх только, но и за совесть в союзе с завоевателем. Саксония, Бавария, ряд центральных и южных германских государств отчасти уже получили, а отчасти чаяли получить в будущем от Наполеона ряд материальных благ. В самой Пруссии тяготились вассальным положением, но, до при-

хода русских войск, речи не было и быть не могло о немедленном восстании против Наполеона. «Der König rief und alle, alle kamen»—таков любимый мотив легенды. На самом же деле Фридрих-Вильгельм III ни за что не хотел рисковать войною с Наполеоном и уступил не потому, что якобы «народное движение» его увлекло, но потому, что ему оставалось выбирать между войною против Александра (уже стоявшего с войсками в Пруссии) и войною против Наполеона, который, по всем сведениям, раньше поздней весны 1813 года не мог собрать новой армии и выступить в поход. Когда, к концу лета 1813 года, к союзу против Наполеона примкнула Австрия, когда неестественно огромное и неестественно долго (для подобных сооружений) существовавшее здание наполеоновской всеевропейской гегемонии стало явно колебаться в самых основах своих, дело Пруссии было спасено. При России, Англии, Австрии, Швеции—Пруссия могла уже спокойнее смотреть на будущее, и прусская армия сыграла также свою роль в общем деле. Что без союзников она была бы раздавлена так же, как в 1806 году; что Пруссия воскресла исключительно в исторически неизбежном процессе крушения наполеоновской империи, это столь простая истина, что даже неловко на ней долго настаивать. Легенда сделала из всего этого furor teutonicus, который в могучем и гневном порыве сбросил иго корсиканца [1]) etc. Можно прочесть томы и томы этого мифотворчества,—и узнать очень много о решающей роли лекций Фихте, о протестующем исконном германском духе и его победе над латинским (welsche) безобразием и насилием, и почти ничего не услышать о значении двенадцатого, а не тринадцатого года для освобождения Германии. Все эти сказания особенно невозбранно и широко преподносились не только большой публике, но и ученому миру в 1910 году по случаю столетнего юбилея берлинского университета и в 1913 году по поводу такого же юбилея Лейпцигской битвы.

Конечно, не освободившись от всех этих восторженных фантазий на германско-патриотические темы, нельзя и шагу ступить далее по пути научного анализа. Весь 1813 год,

[1]) Один из характерных образчиков см. у «критического» Лампрехта: «... erhob sich der furor teutonicus, entsprang eine neue Heldenzeit der Nation, der Korse zum Opfer fiel» (Deutsche Geschichte, VI, 348. Изд. 1904).

один из кровавейших годов всемирной истории, вся Европа с неслыханным напряжением сил боролась против Наполеона, уже пережившего гибель великой армии в России,—и все-таки долго не могла его одолеть и терпела тяжкие поражения в роде Люцена и Бауцена,—и в частности, чуть ли не после каждой неудачи король прусский с отчаянием заявлял, что он «уже видит себя опять на Висле». И кто скажет, что он был неправ в своем беспокойстве? Уйди Александр с поля битвы во время летнего перемирия, не примкни к союзу Австрия,—что сделала бы страна с девятимиллионным населением против все еще страшного завоевателя? Но великое счастье Пруссии в том и состояло, что всех этих неожиданностей не случилось и не могло случиться так же, как не могли продолжать дела своего отца и деда ни Людовик Благочестивый, ни затем Карл Лысый, ни Людовик Немецкий, так же, как не могли диадохи сохранить во всей целостности великое сооружение Александра Македонского. Империи Александра Македонского, Карла Великого и Наполеона по всей социологической природе своей не могли быть явлениями длительными.

Много причин обусловили возможность их создания, но еще больше обстоятельств способствовали их разрушению и делали сколько-нибудь длительное их существование невозможным. В частности, современники Наполеона склонны были с самого начала его эпопеи ждать неизбежной финальной катастрофы. Сам Наполеон в разговоре с кардиналом Фэшем высказал мысль, что теперь он всесилен, но придет момент, и одолеть его, Наполеона, станет легко. Мать императора—Летиция Бонапарте—не забывала, когда при ней говорили о могуществе ее сына, прибавлять с тревогою: «pourvu que cela dure». Нужно только подождать, он сломает себе шею,—утешал Александр I Фридриха-Вильгельма III, просившего о заступничестве. Князь Талейран, корифей дипломатической тонкости, обладавший непогрешимо правильным инстинктом, в 1808 году, когда в самом деле вся Европа трепетала пред самодержавным владыкой Франции и либо была уже завоевана, либо ждала ежечасно нашествия и гибели, в самый момент эрфуртского свидания, не побоялся войти в тайную личную унию с Александром, так как он уже тогда не сомневался в неминуемости катастрофы великой империи. Ни враги, ни друзья Наполеона не верили в возможность длительного существования военного абсолютизма, управляющего территорией, которая на-

чинается в Антверпене и Гамбурге, а кончается в Андалузии, Калабрии, Апулии и на границе Ново-Базарского санджака; начинается в Лиссабоне и кончается в Данциге и Варшаве, где перманентно находилась часть военных сил Наполеона. От великих мира сего, названных мною только-что, до среднего обывателя, в роде беззаботного молодого московского жуира Булгакова, не желавшего ехать на дипломатическую службу в Париж, к блестящему, превосходившему пышностью и роскошью двор Екатерины II, двору Наполеона, и просившегося в побежденную и покорную Вену, потому что в Вене—прочнее и спокойнее,—многие и многие современники грандиозной эпопеи выражали полную уверенность, что длительною она быть не может.

Эта могущественная, инстинктивная уверенность сильно поддерживала дух угнетенной Пруссии в трудный период 1807—1813 г.г. Люди размышлявшие ясно видели, что если в социально-экономическом строе Европы было очень много таких особенностей, которые необычайно облегчили Наполеону возможность победы,—то самое несоответствие между его стремлением к абсолютному и всеевропейскому владычеству и его же упорной тенденцией экономически эксплоатировать всю покоренную Европу в пользу одной только Франции, все эти усилия строить по одному ранжиру народы и государства, ровно ничего общего ни по расе, ни по истории, ни по географическому положению между собою не имеющие, неминуемо должны привести и эту попытку «вселенской монархии» к такому же быстрому крушению, как и предшествующие, связанные с именами Александра Македонского и Карла Великого. И размышление, и инстинкт вели к одному и тому же умозаключению. При таких обстоятельствах довольно безразличны были и furor teutonicus, и Фихте с его лекциями, и Кернер с его песнями, и студенты со своим патриотизмом, и Штейн с его германскою идеею, и Гарденберг с его реформами, и берлинский университет с его заданиями. Не потому погибла Пруссия, что якобы она так была «гнила» в 1806 году, и не потому она спаслась, что к февралю 1813 года она вдруг чудодейственно из гнилой обратилась в здоровую и цветущую. Всю эту литературу давно пора выбросить, как негодный хлам. В 1813 г. эту поздоровевшую и помолодевшую Пруссию Наполеон бил при Люцене и Бауцене не менее страшно, чем он делал это в 1806 году с Пруссией «гнилою», но на этот раз за Пруссией стояла почти вся Европа, и, г л а в н о е, дело происхо-

дило после гибели 600.000-ной армии в России и после нескольких лет наполеоновского гнета в Европе. Момент, который в разговоре с кардиналом Фэшем предусматривал Наполеон,—наступил. Что бы ни делала Пруссия в 1813 г., все равно она должна была спастись. Упорствуй еще дальше король Фридрих-Вильгельм III, Александр I сделал бы с ним нечто в роде того, что в 1917 году сделал комиссар Антанты Жоннар с упорствовавшим королем греческим Константином. Угрозы в этом роде уже высказывались. Даже откажись Пруссия, как один человек, участвовать в войне против Наполеона, все равно, это могло бы задержать, но не изменить конечный исход войны, и та же Пруссия подоспела бы к разделу добычи, как подоспела, несмотря на Бухарестский мир, Румыния в 1918 году. Вполне карикатурно было бы утверждать, что, весною 1918 года, в момент Бухарестского мира, Румыния была гнила, а в октябре и ноябре того же 1918 года она вдруг почувствовала приток молодых, идеалистических сил и рванулась на поработителя, полная праведного гнева, и в гордом порыве оскорбленного национального чувства и самосознания одолела врага. Но до сих пор многие не замечают такой же точно карикатурности в утверждении, что Пруссия в феврале 1813 года поднялась и спаслась вследствие некоей внутренней, на нее нисшедшей благодати,—что бы под этою благодатью ни понимать: начатки ли реформ, из коих еще ни одна не успела к 1813 году войти даже в полную силу, или лекции в берлинском университете, или одушевление молодежи, или еще что-либо.

И все эти небылицы рассказываются о той самой Пруссии, о которой только что, когда речь шла об Иене и Ауэрштедте, говорилось, как о государстве с совсем прогнившею системою,—причем забывают, что эта система и в 1813 г. была точь-в-точь такою, как в 1806—1807 г.г., ибо даже если бы важные намеченные реформы были уже в самом деле проведены, а не только намечены и провозглашены, все равно и форма правления, и весь административный и судебный быт, и все междусословные отношения, и положение печати, и почти весь личный состав правящего механизма и высшей администрации, и открыто поддерживаемые принципы отношений между властью и обществом,—словом все, дающее физиономию данному строю, осталось прежнее. В исторической лжи, которую мы тут отбрасываем прочь, есть свои наслоения, она образовалась далеко не

сразу. Сначала, в первой половине XIX века умеренно-либеральная публицистика и либерально-националистическая историография, в цензурных условиях того времени, пользовались благодарною и безопасною возможностью поучительно указывать власти предержащей на то, какие хорошие последствия бывают от доверчивого отношения к общественным силам и от общественного воодушевления, от единения власти с подданными. Потом, с конца пятидесятых годов этот мотив стал осложняться другим: «der Befreiungskrieg» 1813 года стал изображаться в ореоле могучего, всесокрушающего национального порыва, о нем стали писать в стиле другой легенды, тоже к тому времени во всех красках радуги расцвеченной дилеттантами исторической науки и историческими беллетристами,—в стиле «восстания» против Вара и римских поработителей. После 1870—71 г.г., конечно, именно этот мотив возобладал окончательно, и 1813 г. вошел одним из ярких звеньев в эпопею борьбы против французов, против наследственного врага, «Erbfeind'a».

Нужно отдать справедливость социал-демократической историографии: она чуяла ложь и фальсификацию в этой легенде казенно-патриотического образца и иронически относилась к ней. Но и социал-демократическая критика, в конце концов, направилась не на всю фальсификацию в ее целом, но на одну лишь сторону ее: социал-демократические историки стали называть войну 1813 года «Fürstenbefreiungskrieg», войною за освобождение не германского народа, но германских г о с у д а р е й от Наполеона, и усиленно подчеркивали неисполнение конституционных обещаний, данных Фридрихом-Вильгельмом III и другими государями в разгаре борьбы, и жестокую реакцию, воцарившуюся в Европе после Ватерлоо. Они разрабатывали тенденцию, которая впервые была выражена Байроном в словах: «затем ли свергнули мы льва, чтоб пред шакалами склоняться?» Все это имело свои основания, свою публицистическую ценность. Но нас тут интересует, в ходе наших рассуждений, другое: мы должны подчеркнуть, что: 1) участь Пруссии в с е ц е л о зависела от общей судьбы покоренной Наполеоном Европы и, другими словами, от долговечности его империи, созданной и поддерживаемой завоеваниями; 2) и инстинкт, и логика, и исторические параллели говорили современникам, что созданная Наполеоном великая империя будет непременно иметь короткий век; 3) Пруссия освободилась исключительно в процессе общеевропейского восстания против

Наполеона и крушения его монархии, но отнюдь не вследствие каких-то благостных перерождений и чудодейственных перемен, будто бы происшедших в прусском народе и государстве между 1807 и 1813 годами. Общие причины, вся европейская констелляция были тут единственною реальностью; как последнее, внешнее выражение этих сил и условий, дипломатия чуть не привела Пруссию на край гибели в 1756—1761 г.г.; она же погубила Пруссию в 1806—1807 г.г.; она же спасла ее в 1813 году.

Она же низринула Германию в пучину бедствий в 1914—1919 г.г.

От угрюмого, в два света, рефектория мюнстерского епископата и от павильона двух императоров на неманском плоту перейдем теперь к зеркальному залу Версальского дворца; от германских катастроф XVII и XIX веков—к более страшной катастрофе XX века.

VI.

Между победоносным для Пруссии Губертсбургским миром, закончившим Семилетнюю войну в 1763 году, и разгромом Пруссии в 1806 году, прошло сорок три года. Между Франкфуртским миром 1871 года, поставившим Германию на высшую степень могущества, какой она когда-либо достигала, и началом войны 1914 года, ввергшей Германию в пучину бед и приведшей ее к неслыханному политическому падению, прошло тоже сорок три года. Почему и фридриховская Пруссия, и бисмарковская Германия в своем величии оказались явлениями настолько скоропреходящими? Все эти об'яснения, достойные нравоучительных книг для юношеского возраста, о свежести Пруссии в 1763 году, о гнилости ее в 1806 году, о рецидиве свежести в 1813 году и т. п., становятся уже явно карикатурными, если попробовать применить их ко второму сорокатрехлетию, к периоду 1871—1914 г.г. Если ни экономически, ни морально поколение 1806 года, попавшее под пяту Наполеона, не было нисколько слабее, или ниже поколения 1763 года, а интеллектуально было даже гораздо выше людей, еще не знавших ни Гете, ни Шиллера, ни Лессинга, ни Канта, ни Гердера,—то уже подавно ни малейших оснований говорить о каком бы то ни было регрессе Германии 1914 года, сравнительно с Германией 1871 года, нет и быть не может. Напротив, всемирная история едва ли может указать еще один

пример такого неслыханно быстрого и непреодолимо могучего расцвета экономических сил страны, как именно в указанные 13 года; и притом этот экономический бурный прогресс с течением времени не замедлялся, а становился все быстрее: всякий, кто дал себе труд хоть раз взглянуть на статистику ввоза и вывоза, торговли внутренней, промышленности, как добывающей, так и обрабатывающей, сельского хозяйства, развития путей сообщения,—не станет спорить, что Германия 1890 года, при всем прогрессе своем, все-таки больше походит на Германию 1871 года, чем Германия 1900 года на Германию 1890-го; и что Германия 1900 г. все-таки ближе к Германии 1890 года, чем к Германии 1913 года. Это—в области материального прогресса. Умственно—Германия блистала рядом грандиозных достижений в области техники, отвлеченной и прикладной науки, в области колоссального распространения знаний, демократизации их в лучшем смысле слова, поражала огромным повышением среднего уровня умственного развития всех слоев населения. В области моральной жизни, кроме провинциального ворчания на вавилонский характер нового Берлина и кроме указаний на обычные и повсеместные отрицательные явления, свойственные вообще новейшей утонченной капиталистической культуре,—ничего нельзя припомнить, что свидетельствовало бы о каком-либо серьезном кризисе в этой области. В частности, начиная с маршала Фоша и кончая любым корреспондентом любой враждебной Германии газеты, за все время войны 1914—1918 г.г. все наблюдатели подтверждают, что немцы (и молодые, и пожилые возрасты) обнаруживали чудеса храбрости, самопожертвования, удивительного героизма, стойкости. Имея слабых союзников, живших в значительной мере на их же счет, немцы боролись против союза всех величайших и сильнейших держав земли, располагавших бесконтрольно и абсолютно всеми средствами земного шара, и выдерживали эту борьбу в условиях хронического недоедания и страшнейших лишений, на положении тесно-осажденной крепости в течение четырех лет и трех месяцев. Этот факт—достаточно красноречивый ответ на все поползновения (они уже налицо) об'яснить поражение упадком моральных сил и, вообще, мнимою моральною дряблостью страны. Германия 1914 г. была могучею, полною жизненных сил, здоровою в основе своей страною, имевшей за собою великие достижения, а перед собою великие возможности; страною, о блеске, силе

и величии которой в 1871 году не грезили—в этой степени—даже самые пылкие и необузданные патриотические мечтатели, ни Феликс Дан, ни Детлев-фон-Лилиенкрон, ни Дройзен.

Значит, правоучительная и назойливо повторяющаяся и возвращающаяся ложь о гнилости и свежести, о морали победоносного поколения и безнравственности побежденного, о расцвете умственных сил у первого и об упадке их у второго, о хозяйственной прочности и развитии первого и ослаблении экономической деятельности у второго,—вся эта ложь, вызываемая, обыкновенно, бессилием анализирующей мысли, должна быть, в данном примере, отброшена прочь даже теми, кто ее же авторитетно повторяет в других случаях, когда она не так бросается в глаза и не имеет уж до такой степени карикатурного вида (оставаясь, впрочем, и во многих других случаях ложью и выдумкою от начала до конца).

Германия погибла потому, что ей пришлось меряться силами с экономическими и политическими соперниками, оставаясь в том же опаснейшем положении, в каком она прожила всю свою новую историю, в положении центра, борющегося против сложной, могущественной, пестрой периферии, в положении борца, которому некуда отступать, и который п о э т о м у рискует не простым поражением, но политическим существованием; на этот раз опасность усугублялась в неслыханной степени тем, что столкновение состоялось в такой исторический период, когда капиталистический прогресс необычайно связал и сблизил все страны света. В эпоху Тридцатилетней войны Германия была центром, а на периферии были ее противники—Франция, Дания, Швеция, в резерве в качестве вечной опасности — Турция. При Наполеоне—периферией была наполеоновская империя с ее вассалами, охватывавшая Пруссию с запада, юга, отчасти с севера, а после Тильзита и с востока (герцогство Варшавское и Данциг). Но в последнюю великую войну против того же, почти, центра, что и в Тридцатилетнюю войну (Германия и Австрия), подкрепленного уже очень ослабленною Турцией и третьестепенным, изнуренным несколькими предшествовавшими войнами и поражениями, болгарским государством—боролась периферия, охватывавшая собою почти весь земной шар. К анти-германской коалиции пристали быстро и охотно государства, с которыми либо ничего общего Германия не имела, либо никогда никаких

враждебных помыслов против них не питала. Они становились на сторону врагов Германии именно потому, что с 4 августа 1914 года, когда Грей послал в Берлин свой ультиматум, а особенно с 2 апреля 1917 года, когда Соединенные Штаты вступили в войну, Германия явственно превратилась в маленький центр, который непременно будет рано или поздно раздавлен чудовищно-огромною периферией. Мало того: логически неоспоримо было и то, что если бы даже, каким-нибудь невероятным случаем, этот маленький центр и уцелел,—как уцелела невероятным случаем Пруссия в Семилетнюю войну,—то все равно, о мировом, заокеанском, вообще, вне-европейском влиянии этого центра уже речи быть не может. Что политическая радиация, военное и дипломатическое влияние этого центра уже не пробьется сквозь огромную толщу враждебной периферии ни в Америку, ни в Африку, ни в Австралию, ни даже в Азию, ибо, вообще, получить сносный мир, т. е. сохранить свой суверенитет, избавиться от контрибуции и вернуть хоть половину своих довоенных колоний Германия сможет (если сможет) только путем полного отказа от Брест-Литовского и Бухарестского миров, это тоже было ясно даже весною 1918 года, когда Германии еще «везло». И это еще при самом счастливом, волшебно-счастливом повороте судьбы в сторону Германии. Еще задолго до того дня, «черного дня в истории германской армии», как говорит Людендорф в своих воспоминаниях, еще до 8 августа 1918 года, когда англичане между Анкром и Авром прорвали германский фронт, и началось великое отступление германских армий из Франции, то отступление, которое, непрерывно развиваясь, кончилось через три месяца сдачею Германии, без всяких условий, на милость победителей,—еще до начала этого неслыханного крушения периферия твердо знала уже, что она победила, что Германия во всяком случае снята со счетов во всем свете, кроме Европы. После 8 августа стало ясно, что катастрофа еще страшнее, что Германия будет снята со счетов и в самой Европе.

Но и этим еще катастрофа не окончилась. Когда последовала в сентябре и октябре безусловная сдача Антанте на капитуляцию всех союзников Германии, когда центр превратился в маленькое пятнышко на глобусе, а периферия грозила оказаться в ближайшем будущем с одной стороны на Рейне, и с другой стороны у Дрездена, когда артиллерия Антанты стала, не щадя и не считая снарядов, с

яростью, невиданной ни в верденских, ни в соммских, ни даже в эпических весенних боях того же 1918 года, сметать все на своем пути, и союзники, следуя по пятам за гонимыми канонадою немцами, начали приближаться пятью колоннами к Рейну,—тогда была поставлена врагами на очередь дня окончательная задача: германская воля должна быть парализована не только на земном шаре и не только в Европе, но и в самой Германии; не только в настоящем, но и в будущем; Германия должна перестать быть суб'ектом и превратиться исключительно в об'екта международной политики. И в один из тех дней, когда эта мысль стала окончательно крепнуть среди вождей Антанты, но еще встречала между ними некоторое противодействие (среди военных—Першинг, Смутс, среди дипломатов — Вильсон),— 5 октября 1918 года к статс-секретарю Лансингу приехал швейцарский посланник в Вашингтоне и передал только-что полученную ночную телеграмму с просьбою доложить ее немедленно президенту Вильсону: принц Макс Баденский, вновь назначенный канцлер Германской империи, просит президента о перемирии,—и ждет ответа...

Неестественное, страшное напряжение, державшееся больше четырех лет, окончилось; пружина на которую давил своею тяжестью почти весь земной шар, наконец, сломалась; сон славы и величия, в котором жила страна со времен Бисмарка,—рассеялся; Германия рухнула к ногам победителя.

VII.

Ясно ли сознавали в Германии все значение обращения к Вильсону и последовавшей затем телеграфной с ним переписки? Макс Баденский, которому Людендорф не давал ни отдыха, ни срока, требуя скорейшей отправки первой телеграммы Вильсону, понимал,—и высказал в последнем, перед отправкою телеграммы, запросе в главную ставку, — что дело идет об утрате Эльзас-Лотарингии и других очень больших территориальных потерях. Но отдавал ли он себе отчет в том, что на карту поставлено нечто гораздо большее,—суверенитет, фактическая самостоятельность побежденного народа? Может быть, и сознавал, хотя потом он утверждал, что не предугадывал еще тогда всего ужаса Версальского мира. Во всяком случае, победители с первых же шагов не оставляли желать ничего в смысле полной откро-

венности. «В сознании, что всеобщий мир зависит теперь от того, чтобы говорили ясно и действовали искренно и определенно, президент считает своим долгом, не смягчая резких выражений, высказать, что народы не питают и не могут питать доверия к тем, кто до настоящего времени руководил германскою политикою, а также подчеркнуть еще и то, что, при заключении мира и попытке положить предел бесконечным страданиям и несправедливостям этой войны, правительство Соединенных Штатов может вести переговоры только с представителями германского народа, которые одни могут служить лучшею, нежели господствующие властители Германии, гарантией истинно-конституционного поведения. Если бы пришлось вступить в переговоры с военными диктаторами и монархическими автократами Германии, то нам и впредь при урегулировании международных обязательств германского народа пришлось бы иметь дело с ними же. При таких условиях Германия не может вести никаких переговоров о мире, и она должна сдаться».

Германия прочла это вечером 24 октября 1918 года, в конце третьей и последней ответной ноты Вильсона. Это был приказ безотлагательно свергнуть Вильгельма II с престола.

Впоследствии в Германии высказывалось убеждение, что третья нота Вильсона была пробным шаром, ballon d'essai: если немцы исполнят приказанное, значит они уже готовы отдать даже свой суверенитет, лишь бы получить мир; если откажутся, значит никакого вмешательства во внутренние дела они и впредь не потерпят. Но это—версия, явно пущенная в ход правым, монархическим лагерем. Никаких фактических подтверждений и никаких логических соображений в пользу этого мнения привести нельзя. Во-первых, лихорадочно поспешное, в несколько дней совершенное преобразование в первые октябрьские две недели всего государственного строя Германии в демократическом стиле с явною и ничуть не скрываемою целью угодить этим Антанте уже само по себе было приглашением сделать германскую внутреннюю политику предметом мирных переговоров; во-вторых, ведь это спустя два-три года после всех событий разгрома можно было убивать Эрцбергера и Ратенау и лгать в глаза себе и другим, что если бы не революция, то война окончилась бы благополучно,—тогда же, в октябре и ноябре 1918 года, события еще были слишком красноречивы. Между

Вильгельмом, на котором лежала кровавая вина больше, чем на ком-либо из отдельных людей, и Карлом Либкнехтом, который, презпрая тюрьму и смертную опасность, громко изобличал этого самого Вильгельма еще в первые годы войны в кровавой вине, — нужно было провести выбор, и многие, даже не разделявшие программы Либкнехта во всей ее полноте, все-таки чувствовали себя в октябре и ноябре ближе к нему, чем к Вильгельму. Трудно себе представить, что Вильгельм мог бы уцелеть на престоле даже и без третьей ноты Вильсона. Эта нота была лишь последним толчком, ускорившим движение трона Гогенцоллернов, уже валившегося в пропасть. Наконец, никаких пробных шаров союзникам уже не требовалось. Мириада фактов и самых отчетливых впечатлений свидетельствовала в эти последние дни пред перемирием, что Германия лишилась сразу и надолго всякой способности к моральному и материальному сопротивлению. Оставалось только оформить сдачу на милость победителя. 11 ноября 1918 года в вагоне маршала Фоша это и было сделано Эрцбергером, Оберндорфом, Винтерфельдом и фон-Ванселовом. Германия сдала оружие, — и, связанная по рукам и ногам, должна была ждать долгие месяцы своего окончательного и безапелляционного приговора.

Остановимся прежде всего на том, что уже эти прелиминарные обстоятельства ставили Германию в такое положение, в каком она не была ни пред Вестфальским, ни пред Тильзитском миром. Прелиминарные переговоры, приведшие впоследствии к Вестфальскому миру, затеялись еще в 1642 году, за шесть лет до подписания трактата; война продолжалась своим чередом еще шесть лет, пока дипломаты с'езжались, раз'езжались, торговались, притворно ссорились и притворно мирились. Нелепое, растерянное предложение графа Бурнана, сделанное от имени Австрии 14 сентября 1918 года, — начать «необязывающие» беседы по поводу будущего мира, — конечно, провалилось, даже не удостоившись делового рассмотрения со стороны Антанты, уже вполне уверенной в тот момент, что центральные державы погибают. Итак, то, о чем Габсбургский дом только помечтал 2—3 суток в сентябре 1918 г. (пока не пришли известия из Лондона, Парижа и Вашингтона), этот самый Габсбургский дом получил, едва только выразил желание, в 1642 году. Далее. Все последние шесть лет Тридцатилетней войны, вплоть до подписания трактата, «необязы-

вающпе» беседы дипломатов шли параллельно с непрекращающимися военными действиями. Самые переговоры были переговорами не только между одними победителями, но между победителями и побежденными. Что касается Тильзитского мира, то он был заключен через тринадцать дней после последней победы Наполеона при Фридланде. Правда, в эти тринадцать дней разбитая на-голову Пруссия почти не была допущена к участию в переговорах, но у нее был деятельный и влиятельный адвокат—Александр I. В прямых интересах Александра было отстоять Пруссию от окончательного уничтожения; в прямых интересах Наполеона было пойти на некоторые уступки Александру в этой области, чтобы создать из него нового союзника для себя и нового врага для Англии.

Теперь, в 1918 году, все было по другому. 1) Победитель согласился начать переговоры только тогда, когда побежденный обратился непосредственно к нему с мольбою о перемирии. 2) Самое перемирие было тем верховным благом, для достижения которого побежденный готов был решительно на в с е, и победитель это определенно знал. 3) Условия перемирия выводили Германию из числа держав, у которых есть хоть тень возможности оградить впредь силою свои интересы, что бы и кто бы с нею ни делал. 4) Ее враги были в вопросе о немедленном и окончательном обезоружении Германии вполне между собою согласны; так же точно были они между собою единодушны в решении не допускать Германию до переговоров, а просто продиктовать ей будущий мир. 5) Революция, происходившая в это время в Германии, не внушала ее победителям доверия, так как в Эберте, Шейдемане, Эрцбергере, Давиде и др. они усматривали «германских шовинистов», во время войны поддерживавших всецело императорскую внешнюю политику.

Такова была обстановка, при которой, приветствуемый несметными толпами, громом пушечных салютов и звоном всех церковных колоколов, президент Соединенных Штатов 13 декабря 1918 года в'ехал в Париж, и начались совещания трех человек, в руки которых перешла теперь на краткий, но важный момент власть над судьбами большей части стран земного шара. Прежде всего они должны были решить участь Германии. Только эта сторона их работы нас и будет тут интересовать.

Александру была нужна Пруссия, как будущая опора против Наполеона, как политическая величина. Ллойд-

Джорджу и Вильсону Германия нужна была, как экономическая, но ни в каком случае не политическая ценность. И Англия, и Соединенные Штаты не хотели позволить поверженному врагу обзавестись опять армией, флотом, самостоятельною обороною, активною дипломатиею. В этом они были совершенно согласны с Францией. В один мартовский вечер Вильсон и Ллойд-Джордж узнают, что маршал Фош подал свое мнение о необходимости ограничить в будущем германскую армию 200.000 человек. Двести тысяч—так двести тысяч, они оба не препятствуют. Но вот, спустя дня два, они узнают, что Клемансо счел Фоша слишком в данном случае либеральным, и что он желает ограничить германскую армию одною сотнею тысяч человек. Вильсон и Ллойд-Джордж и с этим согласны. Когда прошел этот параграф и все остальные, за ним следующие и ставящие Германию навсегда под самый детальный, активный и ежедневный контроль победителей, когда была обеспечена полная невозможность для Германии каким бы то ни было способом обойти эти запреты, — дело было сделано. Германия, как активная величина, не только в настоящем, но и в ближайшем, а может быть, и в более отдаленном будущем, перестала существовать. Заметим, что Наполеон в Тильзите оставил Пруссии с ее 9 милл. подданных — 42000 солдат; союзники же в Версале — ограничили армию Германии с ее 57½ милл. граждан лишь 100.000. Еще легче прошло полное обезоружение Германии на море. Еще легче—отнятие у нее торгового флота и стеснение права строить суда (обязательством отдавать часть новопостроенных судов союзникам). Еще легче — полное и постоянное обезоружение всех границ и обнажение пятидесятикилометровой полосы на восток от Рейна, и интернационализация как морских портов, так и рек Рейна, Эльбы, Одера, Вислы. И, совсем уже без прений, в полчаса, Германия была навеки (т.-е. пока существует Версальский договор) лишена права распоряжаться своею таможенною политикою: ее победители навсегда получили все права наиболее благоприятствуемой стороны без взаимности, т.-е. сохраняя право, если пожелают, вовсе изгнать германские товары со своих рынков. Наконец, в число 440 статей договора его редактор Андрэ Тардье, по приказу Клемансо и по настойчивым указаниям тогдашнего президента республики Пуанкарэ, включил целый ряд параграфов, примечаний, приложений и оговорок, нарочно так изложенных, что в любой

момент и без особого напряжения юридической мысли Франция может начать военную экзекуцию Германии.

Когда все это происходило, Ллойд-Джордж и Вильсон не протестовали. Они поднимали голос против Клемансо только тогда, когда речь шла о территориальных изменениях, о плебисците в Силезии и т. д.; как будто уничтожение суверенитета Германии не было важнее и страшнее для побежденной страны, чем все остальное!

7 мая 1919 года приглашенной в Версаль германской делегации был вручен текст договора. Когда на другой день Германия узнала его содержание, возмущение и отчаяние овладели всеми классами и всеми политическими партиями. Ведь стихийная радость по поводу окончания войны была пережита после перемирия, в ноябре; теперь же проявлялось одно только отчаяние, одна растерянность. Долго вчитывался я в статьи немецких газет того времени и с любопытством замечал, что они очень много говорят о потере семидесяти тысяч квадр. километров земли (тогда еще не учитывали некоторых позднейших потерь по плебисцитам,— Германия в общем потеряла 74.756 кв. километров), об утрате 5—6 миллионов сограждан (на самом деле Германия потеряла около 7½ миллионов,—7.375.560 чел.), говорили о потере всех колоний, всего будущего, связанного с выстроенною на немецкие деньги Багдадскою дорогою, которая тоже целиком и без возмещений перешла к неприятелю, о грозящей неслыханной контрибуции (тогда еще в точности не определенной), — но сравнительно мало писали о главном. Армия в 100.000 человек? Потеря права набирать ее иначе, как по найму на 12 лет? Потеря права иметь главный штаб и заводить тяжелую и даже среднего калибра артиллерию? Потеря права пускать эту «армию» в ход вне пределов Германии (т.-е., иначе, потеря права «даже мечтать о новых колониях»)? Это все нехорошо, но что же делать, да и все равно, антимилитаризм во всем свете растет, другие (т.-е., победители) тоже должны будут приступить к разоружению. Обязанность отныне допускать товары победителей к себе без права ввозить к ним, если они не пожелают? Ограничение права распоряжаться финансами, пока не уплачена контрибуция? Это все временно. Так утешали себя те, кто совсем безутешно оплакивал потери территориальные. И относительно всех этих зловещих оговорок и угроз («если Германия не выполнит»...) — тоже в первый момент, оглушенные павшим ударом, многие не задумывались, и

уже тогда раздался оптимистический, три года затем просуществовавший лозунг: «Англия и Соединенные Штаты должны были уступить Клемансо на бумаге, но на деле они ему не позволят губить Германию окончательно». Только три течения в Германии (среди социалистов — независимые социалисты и коммунисты, а среди буржуазных партий— так называемые Kontinental-Politiker во главе с Георгом Бернгардом, главным редактором «Vossische Zeitung») не переставали вполне отрицательно относиться к этим упованиям на англо-саксонскую помощь.

Когда 28 июня 1919 года под прямою угрозою уже начавших маневрирование французских войск пришлось подписать, наконец, Версальский трактат, германская пресса особенно запестрела трафаретными утешительными телеграммами о том, что «Manchester Guardian» негодует на Клемансо и обещает английскую поддержку в реализации договора... Словесный дурман несколько заглушал острую боль, потому что непосредственное чувство говорило о совершающихся похоронах. «Das deutsche Volk steht an seinem Grabe», сказал тогда же министр Шейдеман в Национальном Собрании,— и никто не возразил ему. Но жить с этою мыслью было тяжело. И опять, и опять возобновлялись фантастические надежды. Англия недовольна; Англия поможет...

Отчего этого не случилось? Отчего оказалось ложью и газетною словесностью все, что писал «Manchester Guardian»? Отчего и сам Ллойд-Джордж, и Вильсон оказались в положении крыловского повара, при всех попытках остановить французов, хотя они твердо знали, что интересы их стран в известной мере связаны с экономическим возрождением Германии?

Расчленим этот вопрос. Сначала зададим себе и читателю такую задачу: к а к могли бы Англия и Америка помочь Германии, теснимой французами? Тогда уже легко будет ответить и на другое: почему ни Англия, ни Америка не пошли на те жертвы, которые были нужны, чтобы справиться сначала с Клемансо, потом с Мильераном, наконец, с Пуанкарэ.

В том умственном столпотворении, которое породила великая война, наблюдается странное явление: не только публицисты, но и ответственные политики сплошь-и-рядом опускают в своих заявлениях и соображениях часто самые важные звенья. Бывало это и во время войны, и особенно

в Германии. Напр., бывший статс-секретарь Циммерман так и не мог ответить сколько-нибудь членораздельно на горестный вопрос, столько раз ему задававшийся в следственной комиссии Национального Собрания: как мог он думать в 1917 году, затевая свою нелепую переписку с Мексикою, что ему удастся склонить Мексику, а заодно уже и Японию (sic!) к внезапному нападению на Соединенные Штаты? Ему хотелось так думать, вот он и поделился своими мыслями с Мексикой (а заодно уже с Вильсоном, которому удалось перехватить письмо Циммермана, и который опубликованием этого письма склонил окончательно еще колебавшуюся часть общественного мнения к войне с Германией). Точно так же хотелось в 1919, 1920, 1921 г.г. верить, что Англия и Америка помогут, а как они могут помочь,—об этом думалось мало, неохотно и небрежно. Между тем, это и есть сердцевина вопроса. Помочь, т.-е. удержать Францию, можно было только насильственными мерами, т. е., либо войною, либо крутыми репрессалиями, финансовыми и таможенными. Ни то, ни другое не было в данном случае возможно. Америка, как активный фактор, отпала уже в 1920 году, когда сенат окончательно отказался ратифицировать Версальский договор. Да и, вообще, в экономическом спасении Германии Соединенные Штаты были заинтересованы вовсе не в такой жизненной, острой степени, чтобы помышлять о каких-либо суровых или даже и несуровых репрессиях против французов. В частности, промышленные магнаты заатлантической республики определенно радовались отчаянному положению, в какое попала Германия. Правда, финансовый (а не промышленный) капитал Америки искал себе помещения и очень хотел заработать на «помощи» Германии, — но, при этой двойственности на верхах капитализма, решение сената возымело значение окончательного приговора: невмешательство в европейские дела стало лозунгом.

Оставалась Англия.

Бесспорно, Англия существенно была заинтересована в том, чтобы Германия как можно скорее сделалась прежним огромным рынком сбыта для английских товаров и перестала неодолимою дешевизною своих провенансов (происходящею от общего финансового разорения и неслыханного падения марки) забивать английский рынок и лишать этим работы английские заводы. Но как остановить обесценение марки, последовательно и умышленно производимое фран-

цузскою политикою? Воевать с Францией? Курьезно, что некоторые немецкие газеты носились и с этою мыслью (в 1920 году, потом перестали). И об этом говорили взрослые, серьезные люди, те самые, которые тут же (и вполне справедливо) утверждали, что английский рабочий больше воевать, вообще, не хочет. Почему же он захочет воевать с французами? Каким лозунгом его поднять на эту новую, страшную бойню? Тем, что нужно заступиться за Германию, с которой только что Англия воевала не на жизнь, а на смерть больше четырех лет? Такие политические метаморфозы мог проделывать в средине XVIII века Петр III, да и то в тогдашней России, да и то поплатился троном и головою, или безумный Павел I, разделивший участь отца,— но советовать подобную политику в 1920 или 1921 г. Ллойд-Джорджу было, по меньшей мере, наивно. Но, если не война, тогда что же? Ничего. Все остальное—ноты, конференции, свидания премьеров и т. п.—все это было ни к чему. Допустивши в Версале Францию лишить Германию всякой военной силы и всякой возможности самозащиты, и даже тени возможности воскресить эту силу, лишивши ее даже средств внешне поддерживать фактически достоинство суверенного государства, — Англия должна была считаться с создавшимся положением. Этого не было ни после Вестфальского, ни после Тильзитского мира: после Вестфальского,—через несколько лет и Габсбургская монархия, и отдельные части Германии, вроде Пруссии, были уже bündnissfähig, «способны к союзам», уже влияли на европейское равновесие; во время и после заключения Тильзитского мира—Пруссия нужна была Александру, потом понадобилась Наполеону, потом опять Александру. После Версальского мира—Германия оказалась, как военная союзница, никому не нужна. Всякий, защищающий Германию после Версальского мира, должен наперед знать, что он осужден рассчитывать только на себя самого, что сама подзащитная страна бессильна даже пальцем пошевелить, чтобы помочь себе. Abest Germania! Она есть, когда нужно с нее требовать платежи; она есть, как должник, за которым числится долгу 138 миллиардов марок золотом; ее нет, когда приходится подсчитывать силы, необходимые для уничтожения или хотя бы изменения Версальского договора. Значит, теоретически рассуждая (о практическом рассмотрении этого фантастического случая и речи никогда не подымалось), предпринимая войну с Францией для за-

щиты Германии, Англия должна была бы снарядить миллионную армию и устроить десант на северном побережьи Германии, а оттуда уже огнем и мечом идти на французов, которые (по исчислению германского генерала Гренера) через 15 дней после начала кампании войдут в Берлин. Собрать во-время, устроить, вооружить собственную армию Германия не успела бы ни в каком случае; англичанам пришлось бы от побережья итти внутрь страны, уже сплошь занятой французами и бельгийцами (которые связаны формальным военным союзом с Францией). Чем бы ни окончилась подобная война, Англия должна была бы понести огромные жертвы. Ясно, что на эти жертвы никто в Англии никогда для такой цели не согласится, хотя бы и была полная надежда на конечную победу.

Война между Англией и Францией — до полного абсурда невозможна, пока дело идет только о помощи Германии.

Теперь перейдем к другой гипотезе, о которой мало говорят, но на которую много намекают в правой германской прессе: война Германии против поработителей.

В Германии ныне числится после всех потерь 57.550.400 человек. Во Франции и Бельгии теперь $41^1/_2$ мил.$+7^1/_2$==49 м. человек. Обе эти страны в данном случае нужно рассматривать вместе, так как, по связывающему их наступательному и оборонительному союзу, Бельгия мобилизует в один день с Францией и ставит все свои войска под команду французского генералиссимуса. Но у Франции ныне, сверх того, числится 41.650.000 жителей в ее колониях (тоже теперь подчиненных, в большинстве, всеобщей воинской повинности и уже принимавших деятельнейшее участие в военных действиях), а у Бельгии—15.380.000 подданных в колониях. Это дает франко-бельгийской армии дополнительный резервуар в 57.000.000 человек. Значит, в общей сложности французское верховное командование располагает людским резервуаром в 106 миллионов человек (считая население как метрополии—Франции и Бельгии—так и их колоний). Итак, против 106 м. франко-бельгийцев—$57^1/_2$ миллионов немцев. Далее. У немцев нет артиллерии и, вообще, нет готовых запасов оружия, нет оружейных заводов, нет технической возможности быстро вооружить ополчение, нет главного штаба, нет обученного командного состава, нет военной аэронавтики, они—в положении повстанцев, которым нужно импровизировать войну, потому что при дея-

тельном и обширном французском шпионаже, при легально и открыто, по договору, действующем контроле,—подготовиться, вооружиться заблаговременно—не может удаться ни в каком случае. Затем, немцы справедливо учитывают еще один, крайне для них неблагоприятный фактор: Польшу. Польша в самых жизненных своих интересах связана с силою Франции и — с слабостью Германии. Без Франции Польша даже и сейчас не так-то легко справилась бы, вероятно, с немцами, хотя она вполне вооружена, а немцы почти безоружны. Но смотреть спокойно на попытку Германии освободиться от Версальского договора Польша, как несколько раз заявляли ее государственные деятели, не стала бы. Так или иначе, она приняла бы участие в войне. У Польши—около 32 миллионов граждан (по некоторым данным 32.750.000), существует всеобщая воинская повинность, есть, относительно, большая армия, которая, во всяком случае, создаст серьезнейшие осложнения для Германии в момент решительной борбы; не говоря уже о том, что польский коридор отрежет с первых же часов конфликта восточную Пруссию от остальной Германии (а в восточной Пруссии больше $2^1/_2$ миллионов населения). Таковы явно неблагоприятные условия борьбы, в какие поставлена Германия, и какие уже сейчас можно учесть. Конечно, предугадать возможные комбинации трудно. Теоретически рассуждая, Германию спасла бы революция во Франции, еслиб она разразилась в момент наступления французов на Германию; и очень самоуверенно поступил бы тот, кто заявил бы, что подобная возможность абсолютно, при всех обстоятельствах, исключена; у Германии могут также, в известный момент, оказаться союзники. Но, во всяком случае, в германском общественном мнении держится мысль об очень серьезном риске, сопряженном с попыткою путем новой войны избавиться от Версальского ига. Ни в буржуазных органах (даже наиболее воинственных, крайних правых), ни в социалистических, ни в главном органе партии коммунистов, «Die Rothe Fahne», нельзя встретить предложений о немедленном военном выступлении Германии против французов, пока Франция еще не подошла к революции. Напротив, и коммунистическая, и социалистическая пресса ведет упорную борьбу против опасных подзадориваний правой печати, хотя, повторяем, и правая печать не призывает определенно к новой войне.

VIII.

Основная черта, можно сказать, душа Версальского трактата должна быть охарактеризована так: он расчитан на то, чтобы на долгие десятилетия нерасторжимо связать жизнь побежденных с жизнью победителей, связать узами тесного, чуть не ежемесячно сказывающегося и напоминающего о себе вассалитета, и этим сделать положение побежденных необычайно трудным и в моральном, и в материальном отношении. Ничего подобного не было после Вестфальского мира; нечто похожее могло бы быть после Тильзитского мира, если бы, как уже выше было замечено, Наполеон не стал, уже скоро после Тильзита, смотреть на Пруссию, как на один из своих резервов, который можно оставить в покое до поры, до времени, пока она не понадобится; теперь, после Версальского мира, эта связанность, связь ядра с каторжником, к ноге которого оно прикреплено, утвердилась в самом полном виде. Теперь, rebus sic stantibus, не может наступить такой момент, какой был, напр., после Франкфуртского мира 1871 года, когда, спустя два года, контрибуция была выплачена, германские войска покинули Францию, и Гамбетта мог призывать народ к труду и к терпению, к работе во имя далекого, но неизбежного реванша. «Pensons y toujours, n'en parlons plus!»—восклицал он, имея в виду далекий реванш. Теперь немецкий Гамбетта, если бы он существовал, не мог бы дать подобного совета. Нет, немец, начиная с президента Эберта и канцлера Куно и кончая любым голодающим тружеником, которого заработок тщетно стремится угнаться за растущим Existenz-Minimum'ом, не может не говорить о Версальском мире, не может не сталкиваться с ним чуть не ежедневно, как не может арестант забыть о том, что он сидит в тюрьме. Постоянное чувство подчиненности, зависимости от какой-то совсем посторонней воли, не может быть ни забыто, ни заглушено в народе, только что, несколько лет тому назад, стоявшем на вершине могущества. Если что-нибудь не спасет Германию от Версальского договора, то еще очень долго-может быть, до 1960-х годов, не наступит момент, когда и она, подобно Франции в 1873 году, сможет, наконец, не говорить о версальских условиях и всецело обратиться к своим внутренним делам, никем не тревожимая и ни от кого не зависимая, по крайней мере, в финансовых своих

расчетах и комбинациях. Но истинный, полный суверенитет и тогда не вернется „нормальным“ путем, т. е. в порядке продолжающейся силы Версальского договора, так как целый ряд статей (и прежде всего — об ограничении права содержать армию и флот) имеет бессрочное значение.

Эти особые свойства Версальского трактата об'ясняются некоторыми конкретными его деталями. 1) Разрушения, произведенные военными действиями в Бельгии, северной Франции, Сербии, Польше, Черногории, весьма велики, а, сверх того, репарационные суммы исчислены Антантою по чрезвычайно широкому и щедрому масштабу. Своя рука была в данном случае поистине владыкою: ведь Антанта знала, что л ю б а я сумма, которая, по условию, будет об'явлена Германии к 1 мая 1921 года, будет непременно и немедленно принята Германиею без всяких изменений, так как подпись Германии под Версальским договором относится всецело и к этой сумме, тогда еще не исчисленной. Некоторые критики Версальского мира вычисляют, что общая сумма (138 миллиардов марок золотом) в несколько раз превосходит действительные убытки; что, напр., из этих 138 миллиардов Франции придется получить около 62 миллиардов, тогда как действительные убытки ее равны всего 18 миллиардам золотых марок и т. д. Уже самая сумма так колоссальна, что гарантирует финансовое порабощение побежденной страны на многие годы. Но это далеко не все. 2) Трактат написан так, что от стран-победительниц, всех ли вместе, или от любой из двух главных (Англии и Франции) в отдельности, зависит по своему произволу сделать расплату более или менее тяжелой, причем амплитуда колебаний в данном случае необычайно большая. Сейчас, напр., действует Лондонский ультиматум 6 мая 1921 года с дальнейшими дополнениями; завтра могут состояться новое соглашение между державами и новый ультиматум Германии. Хуже всего следующая особенность: Германия, по Лондонскому ультиматуму, обязалась выплачивать ежегодно около $3^1/_2$ миллиардов марок золотом Антанте. Так как у нее ежегодно даже и на финансовые нужды государства оказывается дефицит в 3 приблизительно миллиарда марок золотом, то, значит, и речи быть не может о возможности уплачивать еще и названную контрибуцию. Конечно, Антанта знает это так же хорошо, как Германия, как вообще всякий, кто, запасшись карандашем и бумагою, посидит пять минут над этими нехитрыми исчислениями. Гер-

мания, разумеется, и в прошлом году не заплатила, и в этом году не заплатит названной суммы; из нее выжали за последний отчетный год лишь около $2^1/_4$ миллиардов (2.280 миллионов золотом и натурою). Но Франции, при общей, непримиримо враждебной политике относительно Германии, важно иметь полное право чрез каждые $1^1/_2$—2 месяца требовать сначала невозможную сумму, потом компенсацию за отсрочку, потом гарантии за компенсацию. А там, глядишь, подступает уже и следующий срок: можно опять требовать новый взнос, новых компенсаций, новых гарантий. Можно давать мораторий, но ставить условия; потом заявлять о нарушении условий и требовать дополнительных гарантий, уменьшать срок моратория, увеличивать срок моратория. Не успеешь оглянуться, уже подходит время побеседовать о третьем взносе и т. д., и т. д. Хуже всего для Германии то, что она, согласившись на Лондонский ультиматум 1921 года, может теперь вымаливать все эти отсрочки лишь в путях французского милосердия: правового базиса у побежденной страны нет, и она это хорошо знает. Далее, платежи, которые Германия должна производить, не только колоссальны, но и чрезвычайно дробны и разнохарактерны по титулам, а это также в высшей степени осложняет ее положение. Вот один из обычных, можно сказать, ежемесячных примеров. В первых числах сентября 1922 года, после труднейших и опаснейших для Германии переговоров, после вынужденного согласия Вирта на самые унизительные и убыточные „гарантии“ и т. п., была дана, наконец, отсрочка по уплате денежных взносов до июня 1923 года. Вздох облегчения пронесся в германской прессе. Но не успел этот вздох замереть, как вдруг оказалось, что он был испущен преждевременно: Бельгия об'явила, что она имеет право требовать немедленной уплаты 30 миллионов марок золотом, что эти 30 миллионов не были включены в отсроченную сумму, и что она, Бельгия, пустит в ход все меры, чтобы добиться уплаты.

Между тем, для Германии платить (да еще по внезапному сюрпризу) 30 миллионов золотом так же невозможно, как платить 230 миллионов. Значит, опять нужно улаживать, уступать, умолять, что-то сулить, что-то отдавать [1]). Да

[1]) В тексте этого этюда, помещенного в журнале «Анналы», в декабре 1922 года, в этом месте было напечатано: «И да не подумает читатель, что до февраля (даже не до июня) 1923 года еще не будет 3—4 таких инцидентов». Предсказание исполнилось в точности.

и не может Германия платить аккуратно при тех условиях, какие созданы трактатом. Она потеряла земли, дававшие ей 80% железной руды, около 30% каменного угля — причем она же должна в течение ближайших лет доставлять победителям ежегодно из своих оставшихся копей около 24 миллионов тонн угля ежегодно,—она потеряла все, чем владели ее граждане во всем мире вне Германии (фабрики, заводы, земли, верфи, договорные права, имущественные претензии и т. д.); она утратила 20% лучшей пахотной земли из своей территории и все колонии; в 1922 году она должна была на пол-миллиарда марок золотом выписать хлеба из-за границы для прокормления населения; она лишена навсегда права распоряжаться своею таможенной политикою по своему желанию; ее порты и главные судоходные реки формально обращены в интернациональные сервитуты; ее торговый флот, ее доки, ее лучшие паровые лебедки сданы непрпятелю; она, помимо всех платежей, должна еще на свой счет содержать громадные оккупационные отряды, стоящие на ее землях; ее население, по отзывам постороннпх лиц (вроде английского врача, профессора Starling'a), так страшно изнурено, что пройдут два поколения, пока немцы опять смогут работать с такою энергией, как прежде,—и это при самых лучших условиях, если другие нации будут все время обходиться с Германией, как с больным ребенком, которому хотят вернуть здоровье: as a sick child to be nursed back to health (он это заявил в докладе парламенту).

15 декабря 1922 года в актовом зале берлинского университета состоялась чрезвычайно внушительная, обратившая на себя внимание всей Европы, манифестация: в торжественном заседании специально созванного экстренного с'езда германского союза врачей светила современной германской медицины говорили о положении немецкого населения с точки зрения санитарной и гигиенической. Пред нами полный отчет об этом заседании, напечатанный в «Klinische Wochenschrift» от 8 января 1923 года. Кто не изучил этого отчета, тот не знает вполне всего трагизма положения Германии. Приведем лишь очень немногие выдержки из него. Оказывается, прежде всего, что после двухлетнего медленного, но непрерывного улучшения питания населения (1920—1921 г.г.), наступило в 1922 году—опять явственное и резкое ухудшение. Недостает хлеба, мяса, жиров,

молока. В 1913 году германское молочное хозяйство давало 26 миллиардов литров молока, а в 1920 году—всего 10 миллиардов, теперь же дает еще меньше, чем в 1920 году. «Молоко для большинства населения — недоступно»[1]). Жиры еще менее доступны, однако, чем молоко. Как будет обстоять дело весною (1923 года),—об этом докладчик Гис «думает с ужасом». Болезни и смертность среди детей усиливаются с каждым месяцем: в 1921 году, в среднем, в городах было 14,7% рахитичных детей, а в 1922 году уже 25,36%. Цынга и другие производимые голодом болезни, широко распространяются, как в самые худшие времена войны и блокады. Даже у хорошо поставленных категорий рабочего класса заработков не хватает на вполне достаточное питание (не говоря об одежде). Со служащими, чиновниками, вообще, так называемым средним классом дело обстоит еще хуже, чем с рабочими. Напр., врачи в отчаянном положении, студенты в громадном большинстве—также. Речи не может быть для студента о покупке нужной книги. Они самым тяжким трудом добывают себе средства к жизни.

«Для широчайших кругов населения к голоду, недостаточности одежды и невозможности соблюдать чистоту присоединяется еще холод»,—так как нет топлива. Приюты, больницы всех родов—«накануне банкротства».

«Болен ли немецкий народ?», вопрошает председатель союза врачей Динне и отвечает: да, болен, и быть иначе не может, так как у народа отнято все, что дает организму силу сопротивления. Квартирный вопрос обстоит так, что у большинства нет ни света, ни воздуха, ни возможности опрятно жить. Динне тоже утверждает, что повторяются бедствия времен блокады, но с тою разницею, что тогда дух поддерживала «гордая надежда» на победу, а теперь нет никаких надежд на избавление. А будущее будет даже хуже времен блокады (und dass alles soll und wird sich wiederholen, in verstärktem Masse wiederholen.— Подчеркнутые слова подчеркнуты в подлиннике). Доктор Динне настойчиво повторяет, что положение — убийственно, и будет еще хуже: es kommen schlechtere, schwerere Zeiten. Эти слова тоже подчеркнуты произнесшим их автором. Он не видит ни выхода, ни утешения[2]).

---

[1]) Klinische Wochenschr., 1922, 8 Januar, 54 (доклад Гиса).

[2]) L. c., 56: Glauben sie nicht, dass ich dieses Krankheitsbild in gar zu dunklen Farben male. Die Wahrheit über Deutschland ist ernst, bitter ernst.

«Ведь, действительно», —заключает свой доклад Динне:— «трудно представить себе, что от нас, от Германии, стесненной, сдавленной, лишенной важных доходных частей своей территории, требуют все новых и новых обременительнейших выдач всякого рода. Мы голодаем—и должны отдавать свой скот, мы мерзнем—и должны ежедневно доставлять чужестранцам массы дров и угля. Мы бедствуем и ограничиваем себя до крайности,—а огромное количество чужих войск занимает самые ценные наши области и ведет такую разгульную жизнь, что нельзя себе представить ничего более вызывающего и раздражающего»[1]).

Третий докладчик, профессор Краутвиг, остановился специально на колосальной детской смертности и на полной невозможности для подавляющего большинства вырастить здорового ребенка. «Трагично в настоящее время родиться немецким ребенком; это значит родиться в голодной среде и для тяжелой жизни»,—выразился недавно об'ехавший Германию издатель и редактор «Daily News»— Гардинер. Профессор Краутвиг всецело принимает и подтверждает эту формулу. «Народ, который голодает, не может работать»,—говорит он в конце доклада.

Упадок духа, отчаяние, ужас пред грозным будущим— вот, по словам министра финансов Эриха Коха, настроение всего германского народа в октябре 1922 года [2]).

При таких условиях только обывательское легкомыслие, только туристская беспечность, только верхоглядство фланера, только сытый оптимизм посетителя фешенебельных ресторанов могут приходить к заключению, что „в Германии жизнь идет нормально“, „в Берлине все спокойно“, „живется превосходно“, и т. д., и т. д. В Польше пред разделами (и во время разделов) тоже жилось некоторым вполне „нормально“ и даже (кое-кому) и весело: едва ли князь Радзивилл (так называемый „пане коханку“), или Щенсный Потоцкий подозревали, что они живут в страшное для Польши время. При чахотке тоже сплошь и рядом пред самою смертью все обстоит вполне спокойно, и даже наблюдается румянец. И только легкомысленные фантазеры могут бредить о мнимой мощи и близком торжестве Германии над супостатами.

---

[1]) L. c. 57.

[2]) Ср. «Berl. Tag.». 26 okt. 1922: «Mutlosigkeit, Ratlosigkeit, Entmutigung, ja Verzweiflung... Das ganze Volk zittert vor der trostlosen Unsicherheit seiner Zukunft».

Пишущий эти строки привел только что мрачные примеры не потому вовсе, что он убежден в неизбежности для Германии участи Речи Посполитой или иной какой-либо формы exitus letalis. Я хочу только сказать, что дело обстоит с Германией крайне серьезно, и все обывательские рассуждения на тему, что «это» уже бывало, и что немцы трудолюбивый и способный народ, а потому все уладится и т. п.—должны быть отведены. Нет, этого с Германией еще не бывало. С Карфагеном—было, с Польшей—было, с Германией не было. Может быть, что Германия, как самостоятельная держава, не погибнет,—вот единственная оптимистическая формула, которая ныне еще разрешается логикою. Но уверенности быть не может. До войны за один доллар давали четыре марки и 20 пфеннигов. Война, поражение, Версальский мир, внутренние потрясения—все это привело к тому, что 1-го января 1921 года за один доллар давали 72 марки. Ровно через год, 1-го января 1922 года, за один доллар давали 186 марок. 1-го августа 1922 года за один доллар давали уже 648 марок, 1-го сентября 1922 г.—1.298 марок, 4-го сентября—1.458 марок, 23-го октября 1922 года—4.420 (четыре тысячи четыреста двадцать марок). В ноябре 1922 года за один доллар давали уже восемь тысяч марок. После занятия Рура за один доллар дают уже до сорока тысяч марок. И падение—то приостанавливаясь, то ускоряясь — продолжается. Я при этом беру только цифры официальной, нарочито оптимистической биржи Берлина; на бирже реальной, „черной“, марка все время котируется гораздо ниже...

Иностранные наблюдатели передают с удивлением (см. «Temps», 31 août, 1922), что с августа 1922 года в целом ряде торговых учреждений в Берлине, Лейпциге и др. местах принимаются продавцами к уплате за товары либо доллары, либо франки, и заставить брать марки невозможно. Они же отмечают, что в ресторанах Берлина кельнеры постоянно справляются по телефону на бирже о том, как стоит курс марки, и, с часу на час, отмечают на карточках блюд изменения в ценах (но именно французу незачем удивляться всем этим признакам опаснейшей финансовой болезни Германии).

Если читатель вдумается в значение вышеприведенных цифр, если он оценит тот факт, что марка в январе 1922 г. была гораздо ближе по своей ценности к марке до-военной, нормальной, чем к марке в сентябре того же 1922 года, а

марка в октябре 1922 года стояла в три раза хуже, чем в сентябре, а в ноябре в два раза хуже, чем в октябре—то заключение образуется само собою: летом 1922 года случилось нечто еще более убийственное для германской экономической жизни, чем все события за все годы, с 1-го августа 1914 года по 1-ое января 1922 года. Что же „случилось“? Нового ничего: но мировая биржа пришла, после срыва августовской конференции в Лондоне усилиями Пуанкарэ, к убеждению, что Германию сознательно ведут к государственному банкротству и к полному уничтожению ее экономической самостоятельности; что этого хочет Франция, и что этому не может сейчас действенно воспротивиться никто (начиная с Англии); что кабинет Бонар-Лоу настроен к Германии враждебнее, чем Ллойд-Джордж, и что французское правительство отныне чувствует себя еще менее связанным, чем при Ллойд-Джордже; что поэтому возможны в предвидимом будущем полное формальное обесценение марки и выпуск новых денежных знаков уже новыми экономическими хозяевами Германии. И это постепенно назревшее и вдруг проявившееся опасение биржи оказалось для германской валюты гибельнее войны, поражения, всех потерь и потрясений, испытанных за 1914—1922 г.г. Права ли биржа в своих опасениях или нет, мы пока не знаем. Мы видим только, что она очень серьезно смотрит на то положение, в котором очутилась германская республика, и ближайшего выхода из него не усматривает. Занятие Рура в колоссальной степени ухудшает это положение. Надежды на пассивное сопротивление, — не оправдались; надежд на общее восстание, — судя по общим заявлениям, — нет; об активном вмешательстве Англии даже и не говорят в данном случае.

Может быть, выход когда-нибудь найдется, может быть, он окажется вполне неожиданным, повторяю,—тут наш анализ останавливается. Будущее от нас скрыто, его можно представлять себе таким, а не иным, можно его желать, бояться, жаждать, мечтать о нем или пугать им, одного лишь нам не дано, самого главного: нельзя его знать.

IX.

Мы до сих пор говорили о свойствах Версальского договора и видели, что он закабалил Германию несравненно больше, чем это мог сделать с нею Вестфальский мир или с Пруссией—Тильзитский мир. Мы видели, что он факти-

чески лишил Германию приэтом суверенитета в самом существенном, в вопросах самозащиты, и значительно урезал его во многом другом. Мы отметили также, что, пока Версальский мир не уничтожен или не изменен радикально, Германия *не может* зажить своею отдельною жизнью, но насильственно соединена с жизнью победителей на долгие десятилетия, и соединена узами беспрекословной покорности их воле.

Теперь нам осталось лишь вспомнить главные черты, какие отличают внешнюю обстановку после-версальскую от после-вестфальской и после-тильзитской. Мы будем, как и в предшествующем изложении, становиться исключительно на точку зрения Германии; и это сравнение приведет нас к еще менее оптимистическим выводам.

Вестфальские договоры, как оснабрюкский, так и мюнстерский, помимо всего прочего, не оставляли в руках внешних врагов на пятнадцать лет самых богатых земель Германии, как это сделано Версальским договором. Тильзитского же трактата в этом отношении сравнивать с Версальским нельзя вовсе, так как Тильзитский мир касался не всей Германии, а одной только Пруссии; другие же германские державы, большею частью, уже до войны 1806—7 г.г. находились в союзных и вассальных отношениях к Наполеону и, в частности, от Тильзитского мира ничего не проиграли, а некоторые даже кое-что выиграли. Версальский трактат, помимо всех отнятых им окончательно земель, отдавая на пятнадцать лет в залог победителям одну из самых индустриальных и торговых частей Германии—всю за-рейнскую ее полосу, обеспечивает за Францией возможность путем требования осуществления *всего* договора во всех деталях, продолжить свое пребывание на Рейне на неопределенный срок. В июне 1922 года Пуанкарэ, принимая депутацию общества, имеющего целью помогать жертвам войны, по этому поводу произнес большую речь, в которой заявил, что он не признает справедливыми приговоры лейпцигского суда над лицами бывшей германской армии, обвиняемыми в жестокостях во время войны; что он намерен отдать всех этих лиц под французский суд, который и будет их судить в их отсутствии, per contumaciam; что затем он, Пуанкарэ, потребует у Германии выдачи осужденных для исполнения над ними приговора *и будет исчислять пятнадцатилетний срок оккупации левого берега Рейна лишь с того момента, когда все*

осужденные будут выданы Франции. Вот образчик того, с чем еще может столкнуться Германия по вопросу об обратном получении своих рейнских владений. После Тильзитского мира Наполеон, как выше указано, потребовал от Пруссии сумму в 112.000.000 франков; государственный доход Пруссии за последний отчетный год перед войною был равен, считая на франки, 101½ милл. франков. Значит, он требовал контрибуцию, почти равную одному годовому довоенному приходу государственного бюджета побежденной страны. По этому масштабу союзники в Версале в 1919 г. должны были бы потребовать не 138 миллиардов золотом, но от 3½ до 4 миллиардов марок. Наполеон тоже медлил, правда, эвакупровать Пруссию,—но, ведь, все его царствование было сплошною войною, его войска стояли постоем годами у друга и недруга,—и в этом положении Европы, как уже замечено в своем месте, для Пруссии была главная надежда на избавление (так блестяще осуществившаяся). Теперь же, оккупация прирейнской Германии принимает постепенно характер подготовки к полной аннексии, и Версальский договор играет при этом роль орудия для создания нужной дипломатической обстановки.

После Вестфальского мира будущность Германии была на востоке. Восток, раздел Польши сделал Пруссию великою державою, и дал ей возможность в следующем веке об'единить вокруг себя Германию. После Тильзита—будущность Германии—сначала политическая, а потом экономическая—продолжала быть на востоке. Сначала—оправдавшиеся надежды на Россию—освобождение в 1813 году, потом—предуказанный Листом выход в Турцию, Малую Азию, с перспективами Месопотамии, Персии, шпрящиеся торговые связи с Россией.

После Версаля—восток, недоступный для Германии, начинается в получасовом растоянии от Дрездена, где теперь проходит юго-восточная граница, и в двух с половиною часах железнодорожной езды от Берлина. Россия, которая была для германской экономической жизни гораздо важнее всех колоний, отрезана Латвией, Литвою, Эстонией, Польшей, Балтийским морем, чужим и враждебным, как все теперь моря для Германии, лишенной и военного, и торгового флота: трезубец по-прежнему в руках англичан, и Балтийское море стало для Англии таким открытым, каким не было с давних времен. Турция отрезана Чехо-Словакией, Юго-Славией, проливами, которые в руках у англичан. Да

и сама Турция сведена к скромным размерам, и лучшие ее части—Сирия в руках французов, Палестина, Заорданье, Месопотамия, Аравия—в руках англичан.

Осенние победы 1922 г. в Малой Азии Мустафа-Кемаля-паши, создающие серьезную угрозу для англичан, благоприятны для Франции, очень благоприятны для России,—но для Германии, в ее нынешнем положении, могут оказаться полезными далеко не сразу; во всяком случае не раньше, чем ангорские войска заняли бы Месопотамию,—если этому суждено когда-нибудь случиться. Таким образом, даже сочувствие немцев турецким победам отравлено сознанием, выраженным в передовой статье журнала «Die Woche» от 27 сентября 1922 года: «Die türkische Sache ist die französische Sache».

Помимо всего, валютный хаос на всем азиатском востоке, нынешние восточные государства, переживающие ряд глубоких перемен,—все это мало сулило бы непосредственных выгод Германии, если бы даже она туда могла со своими товарами добраться. И все-таки будущая торговля с Россией и с востоком одна из больших и серьезных надежд Германии. Но зато политически—Германия на востоке слаба, подорвана, расчленена. Воскрешение самостоятельной Польши в границах до первого раздела лишило Пруссию областей в 50.432 кв. километра, с 4.400.000 жителей, с колоссальными каменноугольными залежами, с огромною промышленностью (в верхней Силезии), с едва ли не лучшими во всей Германии— по крайней мере, северной и центральной—пахотными землями. Польша так отрезала Германию от востока, что даже чисто-германская область—Восточная Пруссия – сделалась чем-то в роде заморской колонии.

Такова обстановка на востоке ближнем. Восток дальний, азиатский—закрыт, пока у Германии нет большого, или хоть среднего торгового флота и возможности дешевого морского фрахта. Об общей политической кон'юнктуре, созданной в Версале, я уже говорил. Фатальный результат, порочный круг, можно формулировать так: Германия, пока она соблюдает военные статьи Версальского договора, есть в полном и точном смысле слова quantité négligeable, об'ект, а не суб'ект международной политики; а чтобы перестать соблюдать эти статьи, ей нужно начать войну против Франции, Бельгии и Польши, и начать неподготовленной, потому, что ей подготовиться не дадут. На чисто дипломатическую помощь Англии она в настоящее время расчитывать не

может, так как Франция ничему не хочет вилть, а на активную помощь англичан, на решительное выступление Англии против Франции со специальною целью помочь Германии, уповать уж совсем не приходится. Падение кабинета Ллойд-Джорджа 20 октября 1922 года и присутствие в новом министерстве ярого германофоба лорда Дерби, личного друга Клемансо, Фоша и Пуанкаре,—делает положение Германии еще хуже, еще беззащитнее. Недаром шовинистские органы Франции встретили уход Ллойд-Джорджа таким бурным восторгом.

Если бы Франция пошла по стопам Наполеона и, в самом деле, решилась бы на систематический захват гегемонии на материке Европы, то, конечно, Германия от этого только выиграла бы, ибо эта тенденция французских империалистически настроенных кругов действительно вызвала бы тотчас на сцену Англию и воскресила бы обстановку 1813 года, с некоторыми лишь видоизменениями. Результат борьбы был бы предрешен—и Версальский мир перестал бы существовать. На это также надеются и об этом иногда пишут в Германии. Но и тут мы имеем дело с гипотезою, касающеюся темного будущего, так же, как тогда, когда мы говорили о революционном взрыве в самой Франции. Логически третьей гипотезы нельзя сейчас придумать. Либо война Англии против Франции (вызванная только стремлением Франции к гегемонии), либо революция во Франции и невозможность, этим созданная для Франции, повести борьбу против восставшей Германии и ее возможных и естественных в данном случае союзников. Ничего третьего, повторяю, логически придумать нельзя, когда мы говорим о возможности насильственного уничтожения Версальского договора.

Если же Версальскому договору суждено остаться в силе,—то—также рассуждая логически—через год, или два, или три даже последние следы политической самостоятельности Германии исчезнут. Будет ли это сделано в форме стиннесовского франко-германского «союза» или как-нибудь иначе—для существа вопроса есть дело второстепенное.

При той валюте, какая сейчас в Германии, ни накопления капиталов, ни уверенности в завтрашнем дне, ни далеко вперед направленного коммерческого расчета быть не может. Не может также быть уверенности, что через год

или два главные богатства Германии и вся ее промышленность не перейдут в руки иностранцев, и что собственные ее капиталы еще быстрее, чем они делали это до сих пор, не уйдут за границу. А положение валюты, как уже отмечено, есть прямое последствие сознательно и последовательно проводимой французской политики. Прав ли расчет финансистов, вроде Стиннеса, которые склоняются к полному признанию вассалитета, к «единению» германского угля с французскою железною рудою, к прямому или косвенному включению Германии в сферу французского влияния, прав ли их расчет, что полная, ускоренная добровольным согласием Германии экономическая и политическая ее сдача сразу поднимет марку, что положение сделается устойчивым в финансовом отношении,—мы тоже не знаем. Ведь себялюбивый характер мечтаний еще не делает их нисколько реальнее любых бескорыстных и благородных фантазий. Гуго Стиннесу удалось многое; ему удалось, как поют о нем нынешние немецкие «частушки» об'единить в своих руках «все», от сырья до газет: «Kräftgen Beutels, kräftgen Sinnes,—Koaliert Herr Hugo Stinnes—von dem Rohstoff bis zur Zeitung—Alles unter seiner Leitung!» Но в области внешней политики сил его «кошелька» и сил его «разума» часто не хватает. Гуго Стиннесу в этой области уже приходилось на своем веку о многом мечтать и во многом разочаровываться. В 1914 году он мечтал о завоевании Бриэ и Лонгви и о вассалитете Франции, как экономическом, так и политическом пред победоносною Германиею. Теперь он мечтает о довершении германского вассалитета пред победоносною Францией. Твердая марка или твердый франк, присоединение французской руды к немецкому углю, а если не вышло, то можно и обратное: присоединение немецкого угля к французской руде—вот неподвижная идея этой, не особенно глубокой, но зато вполне отчетливой психологии; все остальное для лиц этой психологии—детали, подлежащие самым радикальным перестановкам и видоизменениям. Но и тут мы останавливаемся пред завесою, скрывающей будущее; только оно одно покажет, чьи предположения, когда и как осуществятся.

11 января 1923 года началось занятие Рура французскими войсками. Это фатальное событие открывает новую главу в истории Германии. Оно еще не успело сказаться во всех своих последствиях. В Германии опасаются лишь одного: если французы и очистят Рур, то лишь обеспечивши за

собою предварительно в той или иной степени контроль над германскими финансами, т. е. губя еще больше германский суверенитет.

Заключая наш обзор, можем только высказать вкратце основную мысль, которая сама собою постоянно возвращалась во время этого сравнения настоящего с прошлым; из трех катастроф, пережитых Германией за всю ее историю, Версальский мир представляется самою глубокою и мрачною; историческая обстановка, в которой осуществляется Версальский мир, тяжелее и безнадежнее для Германии, чем историческая обстановка, бывшая после Вестфальского и после Тильзитского мира; если Версальскому миру суждено существовать, то Германия, как самостоятельная держава, прекратит свое бытие. Германский народ не погибнет физически, большие нации такой одаренности и культуры, с таким самосознанием, не уничтожаются даже и при подобных условиях, но его политической и экономической самостоятельности грозит такая опасность, как никогда, за всю полуторатысячелетнюю его историю. Закрывать глаза на это—не ведет ни к чему.

Так ставится сейчас германская проблема в ее международном аспекте.

Фундаментальные вопросы внутренней политики Германии, связанные с Версальским миром, выходят из рамок этого этюда и должны быть рассмотрены отдельно.

Вестфальский мир и Тильзитский мир были внешними, хотя бы и тяжкими ранами. Версальский трактат не только изрезал и ампутировал Германию, но и отравил оставшийся организм; он—не только внешняя глубокая рана, но и тяжкая болезнь, вошедшая внутрь и там оставшаяся.

Сорок три года (1763—1806) высокого международного положения фридриховской Пруссии, как и сорок три года (1871—1914) политического могущества бисмарковской Германии были двумя оазисами, островками, эпизодами, эфемерными исключениями, нежданно на короткий миг удавшимися попытками борьбы против труднопреодолимых сил исторической стихии. О третьей попытке такого рода речи идти сейчас не может. Если Германия может еще когда-либо в будущем надеяться даже только на изменение в своем положении, на освобождение от ярма, так и то лишь допуская логическую предпосылку новых общих гигантских войн или глубочайших, радикальных и длительных перемен

во всем экономическом и политическом быте современной Европы. О степени близости подобных событий можно лишь гадать.

О воскрешении же блеска и силы фридриховской державы или бисмарковской эпохи милитаристского империализма могут говорить в Германии только те, кто безнадежно сбит с толку грандиозностью пережитых событий и кто не может отделаться от фантазий, обманов и погибших снов.

Государственная публичная
БИБЛИОТЕКА
Историческая

Книгоиздательство „ПЕТРОГРАД“.

Пр. Володарского (бывш. Литейный), № 51. Тел. 5-61-46.

ОТДЕЛЕНИЕ в МОСКВЕ:

Петровка, 7, книжный магазин „МАЯК“.

Тел. 1-48-92 и 44-74.

Журналы и сборники.

1. **„Анналы“.** Журнал всеобщей истории—Российской Академии наук. Под. ред. акад. **Ф. И. Успенского** и **Е. В. Тарле.** Кн. первая (распродана).
2. Тоже — кн. вторая.
3. Тоже — кн. третья.
4. **„Русское прошлое“.** Исторические сборники под ред. **С. Ф. Платонова, А. Е. Преснякова** и **Юлия Гессена.** Кн. первая.
5. Тоже — кн. вторая.
6. Тоже — кн. третья.
7. Тоже — кн. четвертая.
8. **„Аргонавты“.** Сборники по искусству под ред. **Н. Лансере** (архитектура), **Д. Митрохина** (графика) и **Э. Голлербаха** (живопись и прикладное искусство). Кн. первая.
9. **„Петроград“.** Литературный альманах. Кн. I.
10. **Еврейский альманах.**

Мемуары. История.

1. **Морис Палеолог.** Царская Россия во время мировой войны.
2. „ „ Царская Россия накануне революции.
3. **П. Курлов.** Конец русского царизма. Воспоминания бывш. командира корпуса жандармов.
4. **Евг. Колосов.** В Сибири при Колчаке.
5. **Г. Носке.** Записки о германской революции. Перевод **Г. И. Гордона.**

6. **Ф. Нитти.** Европа без мира. Пер. с итальянского.
7. **Я. Вассерман.** Мой путь, как немца и еврея.
8. **Д-р Мадлен-Пелльтье.** Моя поездка в Советскую Россию.
9. **С. Ф. Платонов.** Петр I.
10. **Е. В. Тарле.** Разгром Германии.
11. **Е. В. Тарле.** Ирландия.
12. **И. М. Василевский (не-Буква).** Романы. Портреты и характеристики.
13. **С. Любош.** Последние Романы. Портреты и характеристики.
14. **И. Н. Василевский (не-Буква).** Николай II.
15. **И. Гурович.** Записки эмигранта.
16. **И. М. Василевский (не-Бука).** Белые мемуосы.

Художественная литература.

1. **Рабиндранат Тагор.** Дом и мир. Пер. **С. А. Адрианова** (распродано).
2. **Его же.** Рассказы. Пер. с англ. **С. А. Адрианова.**
3. **Его же.** Залетные птицы. Пер. с английского **С. А. Адрианова.**
4. **Его же.** Крушение. Роман. Пер. **С. А. Адрианова.**
5. **Кл. Фаррер.** Обреченные. Роман. Пер. **А. Я. Острогорской.**
6. **Его же.** Новые люди. Роман.
7. **Э. Синклер.** Христос в Уэстерн-Сити. Роман.
8. **Его же.** Принц Гаген.
9. **Кн. Гамсун.** Женщины у колодца. Роман. Пер. **Э. К. Пименовой.**
10. **В. Дж. Локк.** Рыжий варвар. Роман. Пер. с англ. **А. В. Лучинской.**
11. **Джек Лондон.** Пытка. Пер. с англ. **Э. К. Пименовой.**
12. **Артур Шницлер.** Маски и чудеса. Пер. **З. Н. Львовского.**
13. **Х. Бялик.** Рассказы. Авторизованный пер. **Д. Выгодского.**
14. **Г. Германн.** Кубинке. Роман. Пер. с нем. под ред. **Вл. Азова.**
15. **Его-же.** Снег. Роман.
16. **Г. Мейринк.** Летучие мыши. 7 рассказов.
17. **Л. Франк.** Человек добр. Пер. с немецкого **Г. И. Гордона.**
18. **Петер Нансен.** Любовь и молодость. Пер. Г. И. Гордона.

19. . Федин. Сад. Рассказ.
20. П. Маргерит. Холостячка. Роман.
21. Г. Гауптман. Призрак. Роман. Перев. с немецк. В. Л. Шегло.
22. О. Генри. Новые рассказы. Перев. с англ. Ел. Азова.
23. Г. Уэльс. Люди, как боги. Перев. с англ. С. А. Адрианова.
24. Пол Верлен. Стихи, избранные и переведенные Феодором Саллогубом.

Художественные издания.—Вопросы искусства.

1. Н. О. Лернер. Внешний облик Пушкина.
2. П. Губер Дон-Жуанский список Пушкина. С 9 портретами.
3. А. Р. Кугель (Homo Novus). Театральные портреты.
8. Дейблер и Глэз. В борьбе за новое искусство (Экспрессионизм. Кубизм).

Философия.—Общественные науки.

1. Проф. Б. В. Титлинов. Новая церковь.
2. Прот. Ал. Введенский. Революция в церкви и ее будущее.
3. Проф. В. Н. Сперанский. Ламенне как политический мыслитель.
4. Р. Тагор. Личное. Перевод с англ. И. Колубовского (с портретом автора).
5. Дж. Спарго. Он знал Маркса. Пер. с англ. под ред. Д. О. Заславского.

Книги Е. В. Тарле.

1. **Крестьяне и рабочие во Франции в эпоху великой революции.** Издание четвертое, 1923.
2. **Печать во Франции при Наполеоне I.** Петроград, 1922.
3. **Запад и Россия.** Статьи и документы. Петр. 1918.
4. **Экономическая жизнь королевства Италии в царствование Наполеона I.** С приложением неизданных документов. Юрьев, 1916 г. Стр. 532.
5. **Континентальная блокада.** С приложением неизданных документов. Москва, 1913. Стр. 739.
6. **Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen zur napoleonischen Zeit.** Leipzig, 1913.
7. **Рабочий класс во Франции в эпоху революции.** С приложением неизданных документов. Два тома. Том первый 1789—1791. Птр., 1909. Стр. 315. Том второй 1792 — 1799. Птр., 1911. Стр. 580.
8. **L'industrie dans les campagnes en France à la fin de l'ancien régime.** Paris, 1910.
9. **La classe ouvrière et la propagande contre-révolutionnaire en France pendant la Révolution.** Paris, 1909.
10. **Studien zur Geschichte der Arbeiterklasse in Frankreich.** Leipzig 1908. (Staats und sozialwiss, Forschungen, herausgegeben von G. Schmoller und M. Sehring).
11. **Рабочие национальных мануфактур во Франции в 1789—1799 гг.** Птр., 1907.
12. **Падение абсолютизма в западной Европе.** Птр., 1906. Стр. 206.
13. **История Италии в средние века.** 2-е издание. Птр., 1906. (Ист. Европы по эпохам и странам под ред. Н. И. Кареева и И. В. Лучицкого).
14. **История Италии в новое время.** 2-е издание. Птр., 1905 (Ист. Европы под ред. Н. И. Кареева и И. В. Лучицкого).
15. **Очерки и характеристики из истории европейского общественного движения в XIX веке.** Птр., 1904. Стр. 367. (распрод.).
16. **Общественные воззрения Т. Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени.** Птр., 1901. (распродано).